

Виктория и Алексей
Варены



СОЛНЕЧНАЯ ТРОПА

12+



Виктория и Алексей Варгины

Солнечная тропа

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=43992229

SelfPub; 2019

Аннотация

Роман-сказка, действие которого разворачивается в заброшенной российской деревне, куда на каникулы к бабушке приезжает из Москвы девятилетний мальчик Лёнька. Книга написана в своеобразном стиле – этакое русское фэнтези, героями которого являются домовые, леший, водяной, русалки... С другой стороны, это целая эпопея жизни российской деревни – с древних времён до взгляда в её будущее. В оформлении обложки использована фотография картины «Деревенский дворик» художника Олега Буйко с его личного разрешения.

Содержание

СОЛНЕЧНАЯ ТРОПА	4
ПЕСКИ	4
В ЛЕС ЗА ЧУДЕСАМИ	17
ХЛОПОТУН	35
ДВА ОЗЕРА	45
НОЧНЫЕ ЗАБОТЫ	61
УТРО БЕЗ АКИМЫЧА	68
С ДЕДОМ	82
ПОСИДЕЛКИ ДОМОВЫХ	99
Конец ознакомительного фрагмента.	122

СОЛНЕЧНАЯ ТРОПА

ПЕСКИ

«Проснись, Лёня, приехали, уже Пески», – отец легонько потряс мальчика за плечо, но тот не сумел разомкнуть глаз. Дорожная тряска убаюкала его, долгое ожидание Песков внезапно сменилось усталостью, и он крепко уснул, сидя в машине. Неожиданно голос отца перебил другой, незнакомый и негромкий: «Не буди его, неси уж так...»

...Всё это было вчера, а нынче Лёнька, едва проснувшись, откинул одеяло и тут же испуганно замер. Одеяло было вовсе не его – сплошь обшито разноцветными лоскутами и оттого похожее на детскую мозаику. «Да ведь я же у бабушки!» – вспомнил мальчик и с любопытством оглядел незнакомую комнату. Удивительного в ней было ещё много. Ну, во-первых, стена. Внизу она казалась каменной, а сверху деревянной, и в деревянной этой части виднелся проход куда-то, задёрнутый занавеской. К стене приделана была лесенка, и Лёнька, прыгнув с кровати, вскарабкался по ней. Он отдёрнул занавеску, прополз в сумраке по холодному камню и... высунул голову в кухню. Тут Лёнька понял, что странная толстая стена – на самом деле печь, наподобие той, которая

катала Емелю по щучьему веленью, по его хотенью.

Глянув вниз, Лёнька увидел большой неуклюжий стол, застланный клеёнкой. На ней уже нельзя было рассмотреть рисунка, зато темнели многочисленные круги – следы от посуды. Здесь и теперь под пожелтевшей газетой прятался какой-то горшок. Возле окна стояла длинная деревянная лавка. На одном её краю поблёскивало ведро с водой, на другом дремал дымчатый кот. Около входной двери красовался огромный, обитый железом и покрытый чем-то тоже лоскутным сундук. Он был старый, но вид имел такой могучий, прямо-таки былинный, что Лёнька долго не мог оторвать глаз от него. И замок на сундуке висел большой, похожий на конскую подкову. Лёньке захотелось подойти поближе.

Для этого ему пришлось вернуться назад, но дверь из Лёнькиной спальни вела не в кухню, а в большую комнату. Мальчик догадался, что это бабушкина гостиная, однако рассмотреть ничего не успел: едва он вошёл в комнату, как над его головой громко стали бить настенные часы. При каждом ударе одна гиря часов заметно опускалась. Лёнька подставил ладонь под тяжёлую лаковую шишку, и вскоре та холодно коснулась его руки. Потом часы умолкли, и опять стало очень тихо. Лёнька вспомнил про бабушку и отца. Дом казался ему совершенно пустым.

Мальчик не стал больше ничего рассматривать, по домотканной дорожке прошлёпал в кухню, а оттуда – через полумрак коридора – на крыльцо. Солнце сразу ослепило Лёнь-

ку, хлынув на него со всех сторон так, что он зажмурился. Тогда солнечные лучики заиграли на его белёсых ресницах, и Лёнька различал через них то радугу, то жёлтые блики... И в этих бликах, плясавших на её платье и лице, шла к дому бабушка и несла коромысло с вёдрами. Лёньке даже показалось, что она не шла, а как бы плыла над землёй, потому что шагов её он не угадывал. Длинный подол бабушкиного платья почти не колыхался, и ни одна хрустальная капелька не пролилась из тяжёлых ведер.

– Что же ты, милый, выскочил босиком? – спросила она Лёньку. – Ведь роса по утрам студёная...

Бабушка так же плавно поднялась на крыльцо, повернула коромысло и, пройдя с ним в коридор, легко опустила вёдра на лавку.

– Как спалось, внучек?

– Хорошо, – ответил Лёнька, – а папа где?

– Уехал твой папа, велел тебя поцеловать, – засмеялась бабушка и обняла Лёньку.

– Как уехал? – испуганно переспросил тот. – И мне ничего не сказал...

– Да ведь ты спал крепко, – ответила бабушка. – Я и упростила тебя не будить.

Лёнька знал, что его отцу надо срочно возвращаться, и всё-таки растерялся. Впервые мальчик остался один, без родителей. Бабушка смотрела на него сочувственно.

– Не горюй, внучек, – ласково сказала она. – Сейчас мы с

тобой самовар поставим, попробуешь нашего деревенского чайку.

Она достала с печки небольшой, но очень пузатый грязно-жёлтый самовар, сняла крышку, чтобы залить воды, и тут Лёнька заметил в самоваре какую-то трубу.

– Что это? – спросил он.

– А, – засмеялась бабушка, – не понятно, в городе, небось, таких самоваров и нету, там всё электрические. А этот угольками греется. Сейчас посмотришь.

Она закрыла крышку, из-под шестка вынула загнутую трубу, всё это собрала так, что самовар оказался прилаженным к печке. Потом приоткрыла трубу над ним и стала бросать внутрь горящую бумагу и чурочки. Вскоре толстопузый заурчал и загудел. Лёнька догадался, что внутри трубы бушевало пламя. Если оно слабело, бабушка приоткрывала трубу и подбрасывала чурочек. Тогда из самоварного брюха вырывалось в комнату белое колесо дыма, устремлялось вверх и исчезало в печи. Лёнька смотрел на бабушкино колдовство, открыв рот. Когда хлопнула входная дверь, он даже не оглянулся.

– Здравьте вам! – раздался звучный женский голос.

У порога, подперев толстые бока, стояла дородная старуха, а из-за её плеча выглядывала чья-то седая борода.

– А-а, – обрадовалась бабушка, – вот и соседи пожаловали... А мы с внучком чаёвничать собрались. Это, Лёнь, Пелагея Кузьминична да Федор Акимович пришли к нам. Про-

ходите, проходите, гостюшки. Нас тут, Лёня, в деревне совсем мало осталось – три дома всего да дачники. Так что мы, старожилы, здесь вроде родных.

Улучив момент, дед выскочил из-за широкой хозяйкиной спины.

– Здравствуй, Лёня, я тебя давно жду-поджидаю! – радостно воскликнул он. – Сам видишь, с бабками этими какое дело? А мы с тобой завтра в лес пойдём! Ты лес-то любишь?

– Погоди ты, заполошный, со своим лесом, дай хоть поесть добрым людям! – досадливо одёрнула деда Пелагея и стала подвигаться к столу.

– Самовар сломался! – ахнул вдруг Лёнька.

Про самовар и в самом деле забыли, и он рассерженно фыркал во все стороны кипятком.

– Ах ты господи, убежал ведь! – спохватилась бабушка.

Она бросилась заливать самовар водой, а кухня между тем наполнялась дымом. Лёнька всю тарачил глаза по сторонам.

– Кто убежал? Самовар? Куда убежал?

– Да ты давай скорее дверь держи, – посоветовал Лёньке дед, – а то после не догонишь!..

Голос у деда был молодой и звонкий, а в глазах притаилась лукавинка. Лёнька ему не поверил и лишь на месте поерзал.

Тогда дед снял картуз с головы и, скомкав, сунул его в карман брюк. Брюки у него были просторные, снизу аккуратно заправленные в сапоги, а рубаху заменяла выцветшая воен-

ная гимнастёрка, подпоясанная вместо ремня широкой тесьмой. Дед слегка пригладил жидкие волосы, потеревил бородку и словно невзначай вынул из-за пазухи небольшой игольчатый шар.

– Ну, ежели ты такой серьезный, то вот тебе от меня подарок, – и он положил шар перед Лёнкой.

Не успел тот и руки протянуть, как шар сам собой стал разворачиваться и вдруг высунул из-под иголок остренькую мордочку.

– Ёжик! – взвизгнул Лёнька. Обе старушки отвлеклись от самоварных хлопот и заулыбались.

– Ну и выдумщик ты, Акимыч, – сказала бабушка, – ишь как сумел ребёнку потрафить.

А Лёнька не сводил глаз с дедова подарка. Ежонок оказался шустрым и деловито забежал по столу. Натыкаясь на чашку или миску, он сердито фыркал и, дробно стуча коготками, устремлялся в другую сторону. Лёнька подставил ему ладонь, и малыш, уткнувшись в неё, замер.

– А что он ест? – шёпотом спросил Лёнька у деда.

– Да известно что, – тоже шёпотом ответил Акимыч. – Букашек всяких, разных червячков. Подрастёт – мышей будет ловить, что твой кот, змей тоже... А этому ты молочка дай, уж очень они до молока охочи. И как попоишь, так и выпусти в сад, там его мамаша дожидается. Она мне только и дала его, что на часок.

Лёнька понимающе улыбнулся. Тем временем бабушка

укротила строптивый самовар.

– Всё, – довольно сказала она. – Чай уже заварился. Хватит вам болтать, а ну-ка завтракать.

И она принялась накрывать на стол. Тут Лёнька заметил, что не один он наблюдает за ежонком. Дымчатый кот, лёжа на лавке, так и зыркал в его сторону, и кошачий хвост хищно постукивал по деревянным доскам. Дед поспешил успокоить Лёньку.

– Ты не бойся, ежа так просто не возьмёшь. От его колючек даже лисе и волку не поздоровится. Ну так как, в лес со мной идешь?

– Сейчас? – обрадовался Лёнька, но дед покачал головой:

– Не-е, в лес мы с тобой пойдём завтра, а нынче я своей старухе слово дал, что почию крышу на сарае...

И дед принялся за чай. Он пил, держа чашку обеими руками и уткнувшись в неё сухоньким лицом. А вот жена его чаёвничала важно: она громко студила чай, надувая румяные щёки, то и дело ныряла рукой в миску за пирожком или бубликом. Было видно, что Пелагея поесть любила и умела. Дед Акимыч, напротив, казался поглощённым одними своими мыслями.

– А вот как ты думаешь, – спросил он Лёньку, – зачем это мы с тобой пойдём в лес?

– Грибы собирать, – решил Лёнька, – или ягоды.

– А вот и нет, – дед поднял палец. – В лес мы с тобой пойдём за чудесами. Тебе сколько годков?

– Девять, я второй класс закончил, – похвалился Лёнька.

– Ну, значит, чудеса ещё любишь.

– У тебя, дурня, – вдруг не выдержала Пелагея, – до старости лет одни глупости на уме! Вот нашёл наконец-то ровню себе!..

– Сколько помню, всё ты, Федя, чудишь, – согласилась и бабушка. – И впрямь непоседливая твоя душа, прямо-таки ребяческая. Угомонишься ли?

– Уважаемая Антонина Ивановна, – сердечно ответил дед. – Если, скажем, взять, к примеру, индюка, то конечно... Он как вырастет, так и заважничает, так и надуется весь, – дед покосился на свою супругу. – А иная божья тварь до самой своей смерти скачет да радуется, – и он с достоинством поставил на стол порожнюю чашку.

– А как это – за чудесами? – вернул его Лёнька к прежним мыслям.

– Да это проще, чем по грибы, – стал объяснять Акимыч. – Входишь в лес и сперва-наперво здороваешься с лесным хозяином...

– С кем это? – не понял Ленька.

– Известно, с кем, с лешим, а то с кем же? Он там за главного, все тайны лесные у него хранятся. Захочет – поведает, а нет – так ничего и не узнаешь. Ну а уж если не поздороваешься с ним, тогда разве что шишек к самовару бабке принесёшь.

– Ну, понёс старый, – опять вмешалась Пелагея. – Ну что

ты голову ребёнку морочишь? Напугаешь ведь, он потом в лес заботится идти. Гони ты нас, Тоня, – кивнула она бабушке. – Чаю мы попили, гостя твоего повидали, пора и честь знать... А то по ком-то крыша уже плачет, а он всё языком метёт, чисто помелом! Не слушай его, Лёня, он приврать всегда горазд. А ты, – повернулась она к деду, – собирайся и пошли, нечего рассиживаться, не зима ещё.

И стала оттирать Акимыча к выходу.

– Ежа-то, ежа!.. – вспомнил тот уже на пороге. – Не забудь выпустить!

Бабушка пошла провожать гостей, а Лёнька, оставшись один, решил напоить ежонка молоком. Тот угощению обрадовался и начал лакать. Кот не вытерпел, прыгнул с лавки и кругами заходил возле ежа. Лёнька шикнул на усатого.

Как хорошо в деревне, подумалось мальчику, всё здесь интересно, и впереди ещё столько замечательного! Вот покормит и выпустит малыша, а завтра в лесу они с дедом Фёдором и не таких зверьков встретят. Скорее бы завтра наступило!

После обеда бабушка Тоня позвала Лёньку помочь ей кормить животину и повела его во двор. Там в мелком песке копошились куры, и бабушка какими-то перепевами стала скликать хохлаток. Те мигом бросали свои дела и неслись, чтобы получить горсть любимого зерна.

– Вишь, какие скорые! – смеялась бабушка. – А ну-ка, Лёня, покорми их.

...Зерно было прохладным и легко рассыпалось по воздуху. Можно было бросить его влево – и стая кур сломя голову устремлялась к дому, вправо – и она, забыв обо всём, бежала обратно в улицу. Это так понравилось Лёньке, что он не заметил, как ушла бабушка, оставив его одного хозяйничать с курами.

Вдруг Лёнька заметил петуха, который отчего-то перестал носиться со стаей. Видимо, в его голову с большим красным гребнем закралось какое-то сомнение. Он задумчиво переступал с ноги на ногу и бросал пронзительные взгляды то на Лёньку, то на свою шарахающуюся стаю. Наконец под красным гребешком созрело какое-то решение, и петух вызывающе повернулся к Лёньке. В его поведении явно угадывалось уже что-то недоброе...

– Чего это он? – робко спросил мальчик, но бабушки рядом не оказалось.

Лёнька чуть подумал и бросил петуху целую горсть зерна. Тот нагнул голову, заклохотал, созывая кур, но сам есть не стал, продолжая смотреть на мальчика. Даже немного подвинулся в его сторону. Лёнька оглянулся: до крыльца было не близко. Петух же словно уловил его боязнь и опустил голову, готовясь к наступлению. При виде его острых боевых шпор мальчик чуть не дал рёву, но сдержался. Вспомнил, как отец накануне говорил ему: «Деревня, Лёнька, это твоё испытание на взрослость». Петух как будто прочитал Лёнькины мысли и вопросительно уставился на него: как, мол,

твой боевой дух?

Лёнька выгреб остатки зерна и метко швырнул в петуха. От неожиданности тот подпрыгнул, захлопал крыльями, засуетился. Мальчик приободрился, но и петух быстро оправился, вскинул голову с красным флагом гребешка и звонко прокукарекал. Теперь он заходил вокруг Лёньки, не нападая первым, но и не давая мальчику ступить ни шагу.

– Ах ты чучело! – разозлился Лёнька. Размахнувшись жестяной миской, он ринулся на петуха и зацепил его по пернатой шее. Петух подскочил, однако в воздухе снова встретился с Лёнькиной миской, а секундой позже мальчик успел хорошенько лягнуть его. Но противник задел-таки его своей страшной шпорой – Лёнька увидел кровь на своей ноге.

И тут он обозлился не на шутку. Взъерошенный и грозный, Лёнька набросился на врага, как коршун. Он преследовал его, не обращая внимания на ответные удары, подняв ужасный переполох в курином царстве и не видя перед собой ничего, кроме своего обидчика. Неизвестно, чем бы закончился этот петушиный бой, не подоспей к забиякам бабушка.

– Господи, господи, – запричитала она, разнимая драчунов, – да ты мне кочета изведёшь! Батюшки, оба в крови!..

Она отняла у Лёньки миску и потащила его в дом. Лёнька победно оглянулся на петуха: тот старался держаться молодцом, хотя вид имел на редкость жалкий. «То-то», – подумал мальчик.

...Когда они с бабушкой отправились доить корову, Лёньке достался подойник – блестящее ведёрко с носиком, которое на солнце так и горело. Корова паслась на задах и, увидев у бабушки ведро с едой, довольно замычала.

– Вот, внучек, кормилица наша, давай подойник, – сказала бабушка и принялась хлопотать возле бурёнки. Лёнька огляделся.

Вчера вечером он не рассмотрел деревню, а сейчас увидел, какая она маленькая и безжизненная. В Песках стояло всего несколько домов, хотя там и здесь то полуразвалившимся срубом, фундаментом, то просто заброшенным садом проступала деревня, некогда большая и богатая. Сейчас это была тень прежней жизни.

– Ба, а почему отсюда все уехали? – спросил Лёнька.

– Так ведь наша деревня у черта на куличках, а люди к городу ближе стремятся, – вздохнула бабушка. – А нам, старикам, уже поздно заново всё начинать, мы здесь свой век доживать будем...

– А почему деревня Песками называется?

– А потому, что здесь кругом песок, почвы песчаные, отсюда, видно, и название.

Лёнька ещё раз, внимательнее, осмотрел округу. Луг, на котором паслась бурёнка, полого уходил вниз и заканчивался тёмной каёмкой кустов. За ними угадывалась небольшая речка, а дальше уже колосилось ржаное поле, раскинувшееся до самого леса. Лес подступал и с двух других сторон и

здесь значительно ближе подвинулся к Пескам. Можно было даже различить, что это сосновый бор. Четвёртая сторона просматривалась всех далее холмистыми полями и перелесками – оттуда и приехал Лёнька с отцом. Но никакого песка окрест мальчик пока не замечал.

Разглядывая густой гребень леса, Лёнька вспомнил, что завтра, если дед не обманет, он сможет сам узнать сокровенные тайны этого дремучего бора.

– Ба, а почему дед Фёдор такой? – спросил мальчик.

– Какой такой? – улыбнулась бабушка, отрываясь от подойника.

– Да вот такой... Он пойдёт со мной завтра?

– Это в лес-то? Уж не сомневайся. Акимыч каждый божий день норовит туда убежать. А если что пообещает – непременно сделает.

Лёнька после этих слов успокоился совершенно.

Вечером, уже в постели, он вспомнил ежонка, которого по совету Акимыча выпустил в сад. Выпустил и всё поглядывал, не спешит ли за своим малышом ежиха-мать, но так её и не увидел. Зато ежонок, не раздумывая, засеменял по садовой дорожке и исчез в густом крыжовнике. Наверное, он и сам хорошо знал, где искать свой дом.

«Ишь какой самостоятельный», – подумал Лёнька, засыпая.

В ЛЕС ЗА ЧУДЕСАМИ

На следующее утро, не успел ещё Лёнька попить чаю, как явился Фёдор Акимович.

– Готов? – спросил он с порога.

Дед был всё в той же немудрёной одежке, а через плечо висела холщовая сумка.

– Готов! – обрадовался Лёнька и, не допив чаю, бросился из-за стола. Но Акимыч остановил его, велел завтрак доесть, а после придирчиво стал руководить Лёнькиным одеванием.

– Рубашку выбирай покрепче: в лесу каждый сучок требует ключок, – пояснял он. – Сандалии твои хороши по асфальту бегать, а лес любит добрую обувь.

– И то верно, – согласилась бабушка. – Я вот ему Серёжины сапоги достану, отец его пацаном тоже любил по лесу бегать.

Наконец бабушкиными стараниями да с дедовыми советами Лёнька был одет и снаряжён. Старый и малый двинулись в путь.

– Слышишь, Лёнька, – негромко сказал Акимыч, когда они оставили деревню, – вот ты как городской, может, и лесто первый раз видишь, а уж я его за много лет исходил-исплутал... А почему я сюда тянусь? – Акимыч поднял голову и вдохнул полной грудью. – Вот захожу, а меня такой дух

встречает, смолистый да здоровый, что сразу хочется триста лет на свете прожить. Дальше иду – и каждая веточка, каждый кустик мне кланяются: мол, захаживай, добрый человек, погости у нас, полюбуйся, ты худого нам не сделаешь... Вот я и хожу, значит, да приглядываюсь ко всему. Ведь тут каждый день что-нибудь новенькое, вся жизнь лесная перед глазами проходит... Зазеваешься чуток – после долго досадовать будешь. И самое главное, уживаются здесь все рядком, никто никому не мешает. Вот человек – понастроил городов: зверьё повыгонял, деревья вырубил и живет сам себе да со своими машинами. А тут, Лёнька, для всех места хватает.

Мальчик слушал дедову речь – непривычную речь деревенского жителя, и она всё больше увлекала его, завораживала.

– А ты погляди, как деревья да кусты растут. Никто ни на кого не в обиде. Соснам да елям – свет, травке и грибам – влага, земельке – хвойное одеяло. А знаешь, как эти сосны друг дружке помогают? Они, Лёня, в земле так корнями срастаются, что вместе сок начинают тянуть. Случается, прихворнёт иное дерево, обессилеет, так его другие начинают кормить, не дают погибнуть. Бывает, и вовсе срубят дерево, а пенёк долго не умирает, даже подрастает немного. И вот за это самое, Лёнька, я и люблю лес – за великую его ко всем доброту и щедрость...

...Между тем сосновый бор надвигался на мальчика с дедом сплошной стеной, которая отливала золотистым утрен-

ним светом. Стройные стволы росли, росли на глазах, пока не заслонили собой всё небо. Они были гладкими и на удивление ровными. Высоко вверху, переплетаясь корявыми пальцами с длинными иголками ногтей и лишь едва обнаруживая просветы неба, шумели их могучие кроны. Между корабельных сосен невысокими шатрами темнели мохнатые ели. Их нижние лапы свисали до самой земли, так что даже маленькому Лёньке пришлось сильно наклониться, чтобы заглянуть под них. В сумраке елового шалаша он увидел бледный выводок тонконогих грибов в хрупких остроконечных шляпках и коротких паутинчатых юбочках.

В бору поднималась и молодая поросль: ёлочки-малютки, похожие на игрушечные новогодние, тонкие прутьики незнакомых Лёньке лиственных деревьев, сосенки-подростки, обогнавшие ростом всю прочую детвору. Они напомнили мальчику разновозрастную толпу, собиравшуюся по утрам у школьного крыльца.

Лес неудержимо манил Лёньку в свои глубокие тенистые объятия. Но дед как раз остановился, словно запнувшись о корявый старый пенёк.

– Пришли, – сказал он, – теперь что в самый раз сделать нужно?

– С лучшим поздороваться, – вспомнил Лёнька.

– Верно, самое время, – ответил дед. Он достал краюху хлеба, положил её на пенёк и с низким поклоном певуче проговорил:

– Вот краюшка для обеда – угощеньица отведай, разреши в лесу побыть и желанным гостем слыть.

– Дедушка, – спросил Лёнька, – а хлеб зачем? Он что, хлеб ест?

– А то как же! – подтвердил дед. – Самое лучшее для него угощение, и леший завсегда его ожидает. А уж как обижаются, если кто забудет его попотчевать!.. Вот слушай, что со мной случилось, когда я про это запомнил.

Пошёл я тогда по грибы, да что-то, помнится, бабка моя меня заморочила, я через это про хлеб и забыл. И уж после, в бор войдя, вспомнил. Поклонился, знамо дело, лешему, повинился, а он, зелёная борода, всё равно обиделся. А разобидится лесовик – тут от него любого подвоха жди. Едва я в чащу забрался, как повалили грибы – один однава краше. Лукошко вмиг насобирал, да с горкой, а с такой ношей уже не до прогулок. Стал я возвращаться домой. Бор этот знал как свои пять пальцев и самый короткий путь к дому смекнул. Только выхожу из леса и не пойму: где это я? Еле узнал, и оказалось, что попал я совсем в другую сторону, вёрст за десять от Песков, не меньше. Удивился я сильно да назад, опять же дорогу вроде хорошо знаю. А вылез часа через два из бора – опять-таки не там. Тут я и понял: водит меня по лесу леший – кривые рога, ой водит! Тут уже никакие расчёты не помогут. И грибов, хитрый, не зря мне столько подбросил, а чтобы тяжелее было плутать. Пришлось мне тогда, Лёнька, вызволяться из беды старым да верным способом: сел я

на первую же колоду, скинул с себя штаны и рубаху, вывернул их наизнанку да опять и одел. Это затем, стало быть, что у самого лесного проказника платье вечно шиворот-навыворот, он и благоволит к тому, кто его повадку переймёт. Но тут я, Лёня, снова оплошал: взял и высыпал грибы на землю, уж очень неспособно было с полным лукошком. Здесь и осерчал лесной хозяин пуще прежнего за своё добро. И выбрался я тогда к своей деревне уже затемно, совсем было потерял надежду на тёплой печке ночевать. Как увидел я Пески, так обрадовался, что про наряд свой на лешачий манер забыл, со всех ног в деревню кинулся. А старухе моей подай бог, уж как не потешалась. Лешачиным прихвостнем назвала, вот как! А какой я лешачиный прихвостень, я как есть сам пострадавший... Так-то, брат.

Лёнька верил и не верил... Рассказ Акимыча захватил его. Мальчик так и видел деда, плутающего по лесу с тяжёлым лукошком, и сам переживал его удивительное приключение... Он тихонько вздохнул. Лес очаровал Лёньку, и даже дедовы сказки в этой глуши походили на быль. Мальчику захотелось послушать что-нибудь ещё.

Вдруг он услышал какой-то шорох наверху, запрокинул голову и схватил деда за рукав:

– Гляди, дедушка, белки!

Легко перелетая с одного сучка на другой, над головами путников стремительно пронеслась пара белок.

– Играют они? – спросил Лёнька, когда оба пушистых хво-

ста скрылись среди частых стволов. Не успел Акимыч ответить, как следом за этими двумя выскочили ещё несколько белок, не обращая внимания на деда с Лёньюкой, осыпали их дождём сосновой коры и тоже растворились в бурой краске леса. А через мгновение уже целая стая стремглав пересекла полянку, и на этот раз Лёньюке показалось, что белки в испуге спасаются от кого-то.

– Дедушка, кто их напугал? – затеребил он Акимыча.

Тот неторопливым взглядом проводил резвую ватагу и почесал затылок.

– В харинский лес побежали, – определил он и вдруг сокрушённо вздохнул. – Опять наш звериный властелин продулся... Эх, и не везёт же сосновой голове!..

– Акимыч, да ты что? – подступил к нему Лёньюка. – Ты про кого это говоришь?

– Ну как же, милый, – ответил дед всё с тем же выражением опечаленности, – про него, про лесовика – того самого, что с грибами меня водил. Это он своих белок в чужой лес погнал, чтобы от соседнего лешака откупиться.

– Да зачем? – вытаращился Лёньюка.

– А затем, что в карты ему проигрался, и, стало быть, играли давеча на рыжихвостых.

Акимыч неодобрительно покачал головой:

– Уж такой охотник до карт, что прямо страсть! Чего только не проигрывал уже: и зайцев гонял, и мышей, и ворон, и пичугу всякую мелкую... А что сделаешь: проиграл – плати.

Коли в другой раз отыграешься – забирай своё зверьё, а не отыграешься – так и будут жить в чужом лесу, пока хозяину счастье не улыбнётся.

– Да разве звери и птицы не сами по себе? – не унимался Лёнька.

– Сами-то сами, – согласился старик, – но лесной хозяин – он и есть хозяин всему: и деревья у него в подчинении, и звери с птицами, и все козявки. Мы вот с тобой тоже у него милости просим... Да ты не думай, – внезапно оживился дед, – что он больно лютый. Он того же зайца защитит и ту же мышку пожалеет, иначе как? Ведь они беззащитные, кто их и приголубит, как не хозяин. А что гоняет иной раз, так ведь душа у него дикая, лесная, отсюда и забавы этикие.

– Дедушка Акимыч, – задумчиво сказал Лёнька, – я никак не пойму, где у тебя правда кончается и сказка начинается и отчего сказка на правду так похожа?

– Сказка?! – Акимыч остановился как вкопанный. Он словно не верил своим ушам. – Да неужто ты думаешь, что я тебя как малого ребёнка небылицами забавляю?

– Дедушка, – сконфузился мальчик, – но ведь про леших только в сказках пишется, а взаправду их не бывает...

– Не бывает?! – отчаянно крикнул дед. – Да я этого самого лешего видел вот так, как тебя! И не где-нибудь, а у себя дома!..

– А?.. – разинул рот Лёнька.

– Вот те и а, – буркнул Акимыч и снова зашагал по мягкой

хвое. – Видел, Лёнька, и разговор его слышал, а коли вру, то пускай этот самый леший забросит меня на самую высокую сосну да там и оставит!

Он исподлобья взглянул на Лёньку и смягчился:

– А дело было так. Лет пять уже назад как-то ночью лежу я на своей печке и вдруг слышу: шум какой-то наверху, будто кто на чердаке пыхтит и бубнит, недовольно так. Я уши наострил, лежу, а возня пуще. И слышно, как уж кто-то покрикивать начал, а что – не разберу. Я старуху свою толкнул: слышь, говорю, на чердаке кто-то шум поднял, чуешь голоса? А Пелагея мне отвечает: да ты что, рехнулся, какой шум, в доме тише тихого, ну, может, кошки на крыше задрались. «Да какие кошки, – шепчу, – ежели вот потолок прогибается». Ну, с бабкой моей разговор короткий, перекинулась на другой бок и захрапела. А я всё лежу, слушаю и в толк не возьму, отчего старуха моя и не глухая, а не слышит ничего, а я так аж подскакиваю. И вдруг наверху как что-то загремит, а после как скатится по лестнице! Я так и сел. Но на этом всё кончилось, и сделалось впрямь тише тихого. Утром я, само собой, на чердак полез. Барахла у нас там – всякой твари по паре. И вижу я, что барахло это кто-то раскидал, а колесо велосипедное со стены снял и на пол кинул. Эге, думаю, да тут крупная ссора была. Стал прибираться, глядь – а по полу сосновые иголки рассыпаны, зелёные, как будто сейчас из лесу. Вот так дела, кто ж это иголками сорит? Ничего я тогда не придумал, решил обождать. Как ночь, так я не

сплю, прислушиваюсь. И вот недельки через две жду-пожду так-то и начал уже задрёмывать... Как вдруг слышу: стук-стук наверху, а после знакомые шорохи. Явились, значит. Я ещё малость обождал, шорохи эти послушал, а после встал тихонечко, в коридор на цыпочках вышел и стал по лестнице на чердак забираться. Лезу, а сам думаю: ну, как скрипнет? Спугну ведь непрошенных гостей. Забрался наверх, один глазок на чердак высунул да чуть обратно кубарем не слетел от такого дива: сидит на охапке сена, в пяти шагах от меня, гость невиданный. На вид будто бы мужичок, но борода у него – словно травяное мочало, и глазищи зелёным огнем горят, а над ними – ни бровей, ни ресниц, одни волосья вбок зачёсаны, ровно солома граблями. Кафтан на нем навыворот одет, такой старый да изодранный, будто его лет десять уже не снимали, весь в репьях да иголках. Тут, Лёнька, я и расчухал, что за птица ко мне залетела. Слыхал, конечно, приметы про обличье его, о зелёной бороде ещё от деда своего помнил. А тут на старости лет и повидать пришлось хозяина лесного. И знаешь, с чего мне так пофартило? – Акимыч лукаво прищурился. – А с домовушкой моим он дружбу свёл, а то, может, и не дружбу, а просто страстишка общая нашлась – в карты перекинуться. Вот и спелись. Я тогда как выглянул, сразу и раскусил ихний секрет. Они, разумники, сундук старый из-под хлама достали и под стол себе приспособили. Лешему, как гостю, сидало помягче досталось, а домовушка мой на валенке примостился. И свечки старые где-то отко-

пали, прилепили к сундуку. Потому я всё и разглядел, как было.

Играли, я понял, в дурака. Домовой как раз пошёлся, а леший отбивается. Стукнули по карте, стукнули по другой, домовой мой засопел, заёрзал да как соскочит с валенка.

– Ты чего это, – говорит лешему, – вальтом даму бьёшь, морда зелёная?

Тот в обиду вдарился:

– Каким вальтом, ослеп, что ли, ухват запечный? То ж король.

– Где король? – домовой и вовсе взбеленился, карту схватил. – А ну-кась я его сейчас перед свечкой разгляжу! Я его, бестию, сейчас по-своему приласкаю!..

– Да ты чего на карту плюёшь? Ты чего это опять позволяешь себе? Нет, на что лучше со своим лесным братом играть...

– А-а, говорил я, – домовой картой затряс, – валет ведь, валет!

– Ну, валет... Так козырный же!..

– Козырный? – домовой снова карту цапнул. – Я вот те щас накозыряю!

– Эх, – лешак затосковал, – опять плюёт. И что за повадка такая поганая? Не-е, у нас за это по загривку...

– А у нас за такое шельмовство по хребту поганой метлой гладят! Я тебя, пугало лесное, в прошлый раз предупреждал?

– Ну, предупреждал...

– По лестнице ты летел?

– Ну, летел, хлебосольства в тебе ни на грош...

– Так снова полетишь. Я уж под лестницей ведро помойное для такого случая приготовил.

– Я и сам уйду, – гляжу, и впрямь лешак засобирался. – Неинтересно с тобой играть, никакого простора для фантазии. Очеловечился ты тут совсем...

Я, понятное дело, не стал дожидаться, покуда одичалый ко мне на лестницу пожалует. Быстренько по ступенькам слез да чуть в помойное ведро не угодил – не зря, вишь, домовик хвалился...

Лёнька не знал, как и быть ему: не успел свыкнуться с существованием лешего, а тут на тебе – ещё и домовой.

– Дедушка, – с сомнением спросил он, – значит, и домовые – это взаправду?

– Конечно, взаправду, а я тебе про что толкую? Ну, ладно. Сейчас мы с тобой сделаем привальчик, перекусим маленько, да я тебе между прочим и расскажу про своего домового. Он у меня занятный был...

– Он что же, умер, дедушка?

– Не, милый, старуха моя его из дому выжила. А я с ним до сих пор дружбу веду.

Акимыч наконец выбрал подходящее место возле широкого пенька и вынул из своей сумки нехитрые припасы: краюху ноздреватого чёрного хлеба, сало в алмазных кристалликах соли и зелёные луковые перья. Лёнька не знал ещё, что

лесной дух – лучшая приправа к любой еде, и уплетал дедово угощение, причислив его необыкновенный вкус к прочим лесным чудесам. Акимыч ел мало, но с явным удовольствием, не забывая при этом своего рассказа.

– Нашего домового, – начал он, – я знал давно. Вернее, как знал? Когда дом вот этими руками срубил – уже скоро тридцать лет тому, – первым делом покликнул его, потому что без домового какое житьё? Он и от пожара уберезёт, и от лихого человека, и скотину обиходит, и совет толковый за- всегда может дать. Ну, значит, позвал – он и пришёл. Дом у меня неплохой, такому гнезду каждый домовик будет рад. Но видеть его, Лёнька, я не видел, хотя и слышал, как он домовничает. Да слышать – это одно, а вот свидеться везёт не каждому. А уж дружбу свести с ним – и вовсе редкое дело. Чтобы увидеть доможила, – Акимыч сделал большие глаза, – надобно застать его за работой ровно в полночь. Но если у тебя что худое на уме или из пустого любопытства поглазеть на него хочешь – хоть все ночи напролёт не спи, не то не увидишь, а и не услышишь хозяина ни разу. Вот бабка моя так ни разу с ним и не встретила.

Ну а главная закавыка в том, что не верят нынче в домового. А уж такой человек, можешь не сомневаться, и встретит его, да скажет: померещилось. Таким и глаза отводить не надо, и уши закладывать. Ну вот, а как увидишь доможила, можешь с ним заговорить, и ежели ему с тобой интересно станет, то и вовсе сойтись. Ну и жаловать надобно домового,

без этого никак. Любит мохнатый, чтоб его почитали и чем-нибудь лакомым баловали.

Я своего как застукал? Подглядел однажды, как он в кухне ночью горшки проверял. Ворочает их, а сам бубнит: «Который раз в медовой плошке мух нахожу, глаза б мои их не видели! И что за хозяйка нам досталась? Эй, дед, чего шпионишь, всю спину мне глазами пробуравил. Выходи, покалякаем. Да может, у тебя что сладкое есть?» Я и вылез из-за перегородки.

С тех самых пор начали мы по ночам беседы вести, забавы всякие придумывать. Он меня даже картами завлекал, да я не охотник. А вот слушать домовика ой как занятно! Много он знает такого, что людям не ведомо. Я, бывало, за этими байками и не замечу, как ночь минёт, и сразу начинаю следуюшую поджидать.

Только пронюхала что-то моя старуха. Я-то по человеческой своей неосторожности всякое чутьё утратил... Вот одна раз сидим с домовушкой рядом, и вдруг он на дверь кивает:

– Кажись, хозяйка твоя за нами партизанит. Меня ей не увидеть и не услышать, а вот ты для неё в пустоту словами бросаешься. Смотри, как бы не решила, что тронулся. Да ты не зыркай, не зыркай на дверь, а то до смерти напугаешь.

И то правда, думаю, чего стоит моей супружнице в сумасшедшие меня произвести после такого пассажа. И я, дурья башка, наутро взял да и выложил ей всё начистоту. Старуха моя как подхватится и пулей из избы. Это уж я после узнал,

куда она дунула. Жила у нас тогда в деревне – через год в город убежала – Лидка Чувякина, распрекрасная наша фея, кикимора кочевая. Тьфу! Она Пелагею и научила одной пакости. Ты, говорит, не деда своего ругай, а ополчись-ка на домового. И каждый день его бранным словом, каждый день. Он хулы пуще всего не любит. Ну, дальше мою старуху учить не надо, она и рада стараться: с утра до вечера честит бедного, так и выгнала. Не стерпел он, ушёл из дому. Теперь на краю деревни в сарае живёт. Навещаю его, конечно, но уже с оглядкой, боюсь, что дура моя его совсем из деревни выбранил.

– Акимыч, а у моей бабушки домовой есть? – озарило вдруг Лёньку.

– А то как же. Я про него слышал: хозяйственный, обстоятельный...

– А я с ним могу подружиться?

– Ну а почему нет, если, конечно, он сам не против? Кого он в друзья выбирает, знаешь уже. А вот послушай, как доможила вызывают, если он тихий да незаметный и никак его не подсмотреть. Делать это лучше в кухне, тут самое любимое его место. Свет не включай, лучше найди у бабушки свечку. А то керосиновую лампу засвети, но самую малость – домовой сумерки любит. Обязательно требуется для хозяина гостинец, лучше сладкий – кусок пирога с яблоками или вареньем, но можно и конфет припасти, мой вот ириски не разворачивая жевал, и даже просто краюху хлеба. Но краюху

отрезай от непочатого каравая. Так всегда делается, и домовушка за этим следит придирчиво. После этого дождёшься полуночи и скажешь:

Домовушка, не чинись,
А возьми да объявись.
Я хочу с тобой дружить,
Коли нужно – услужить.
Вот отведай-ка пока
Золотого пирожка!

Акимыч повторил заветные слова дважды.
– Усвоил?

Как было Лёньке не усвоить? Да он запомнит это на всю жизнь, если сегодня ночью к нему явится настоящий домовой!

– Ну что, друг разлюбезный, пора нам с тобой к дому лыжи поворачивать, загостились мы у дедушки лесового, – и Акимыч тронул Лёньку за плечо. – Да ты носа-то не вешай, чудной. Мы сюда частенько наведываться будем, ещё не одно чудо увидишь...

На обратном пути попались им скромные посиделки на сосне. Две большие дымчатые с чёрным птицы любезничали друг с дружкой громкими, хриплыми голосами. Увидев Лёньку с дедом, они замолчали и уставились на пришельцев черносморозинными глазами: чего, мол, наше уединение нарушаете, по душам поболтать не даёте?

– Ну-ну, растревоженные, – успокоил их дед, – сплетни-

чайте себе, а нам недосуг.

– Это, дедушка, ворон с вороной? – шёпотом спросил Лёнька, тоже не желая беспокоить говорунов. Дед быстро обернулся к нему:

– А ты думаешь, ворон – это воронин муженёк? Вот и не угадал. Ворон, милоч, он вороне да-альний родственник, десятая вода на киселе. Живёт за тридевять земель отсюда, это раз. А во-вторых, Лёнька, если этот родственничек да залетит сюда, эти кумушки его так встретят, что только пёрышки с него полетят. Ну, правда, вдвоём они на такое не решатся – родич-то и покрупнее, и посильнее будет. А вот стая, та непременно оттрепала бы залётного.

– Да за что же, Акимыч?

– Уж и не знаю, милый, что они там и когда не поделили. Фамильная тайна, – многозначительно произнёс дед. – Но характер у этой птицы натурально разбойничий: птичьи гнёзда зорит, яйца в них разбивает и выпивает. А ещё присоседилась эта мотовка к человеку – не перепадёт ли ей чего? Я слышал, будто они в городе все свалки облепили. Правда, что ль?

Про свалки Лёнька не знал, но ворон в городе, конечно, видел.

– А уж хитрющая, – продолжал дед. – Охотники рассказывали: если выходишь из дому с ружьём, за версту улепётывают до единой. А вот если палку возьмёшь и в них прицелишься – ни одна черноклювая с места не сдвинется, галдят

между собой, по всему видно, зубоскалят...

У меня в саду повадилась одна гнездо вить на дикой груше. Глядел я на него, глядел да и не вытерпел. Раз, когда старуха моя к соседке подалась, я садовую лестницу к груше подтащил и к гнезду этому подлез. Само оно неказистое было, вроде как поленилась даже строить, кучу сучьев набросала – и вся недолга. Но внутри у ней, Лёнька, чего только не было! Ну, сперва пух куриный, пёрышки разные там, а после тряпочки всякие, тесёмочки, нитки шерстяные – чего она у моей старухи и не тянула. Прямо целый склад мануфактурный.

...Они вышли на широкий солнечный простор немного правее того места, где утром углубились в лес, и размашисто зашагали к своей деревне. Издали Пески казались сплошным густым садом, поднявшимся из земли прямо в середине пологой луговой пустоши. Лёнька оглянулся назад, где влажно дышало своей глубокой грудью и грело под июльским солнышком мохнатую голову таинственное существо леса. Оно по-прежнему скрывало в себе, не торопясь расставаться со всеми сразу, множество чудес. Но мальчик уже чувствовал доброту и щедрость этого сурового с виду великана, и оттого ему было радостно и привольно. Дед внимательно поглядел на Лёньку.

– Что заскакал, козлёнок ты мой милый? Весело тебе? Я вот, веришь ли, иной раз сюда притащусь как в воду опущенный, а назад уже на крыльях лечу. А почему?

– А почему? – эхом отозвался Лёнька.

– А потому, что красота эта всю суету с человека уносит, будто чистая водица, всякую скверну очищает. Вот бабка моя в лес ходить не любит, красоты этой не понимает... И всё ей в жизни не так и не эдак, сама не знает, что ей надобно. А ты хоть раз на всё это посмотри, да и поймёшь, чего оно стоит, твое недовольство.

ХЛОПОТУН

– Наконец-то объявились, лесные гулёны, – обрадовалась бабушка, когда Лёнька заскочил в дом. – Не уморил тебя дед?

– Нет, – ответил мальчик, сияя. – Я бы ещё долго гулял. А завтра на лесное озеро пойдём, мне дед пообещал.

– Ну, садись за стол, – пригласила бабушка и опять не вытерпела:

– Поди, заболтал тебя Акимыч, а, Лёнь? Пелагея, к примеру, его придумок терпеть не может, прямо закипает вся. Утром прибежала ко мне и всё причитала: дескать, испортит мой филин лесной твоего внучка, задурит голову своими бреднями. Да присоветовала тебя с Фёдором больше не отпускать.

– Ты что, бабушка! – Лёнька перепугался не на шутку. – С ним знаешь как интересно?

Бабушка призадумалась:

– Я вот тоже говорю, ну что в этих байках плохого? Подрастёт маленько – сам поймёт, где правда, где выдумка. Сказка – она и есть сказка, какой от неё вред?

«А если это не сказка? – подумал Лёнька, опуская деревянную ложку в густые горячие щи. – Вот сегодня всё сам и узнаю».

Вечером, отправившись к себе, Лёнька решил не ложиться: а ну как заснёшь? Чтобы скоротать время, мальчик открыл свою книгу французских сказок. Но сегодня ему не читалось: то, что Лёнька узнал от Акимыча, было куда интересней любых сказок. Он засунул книгу подальше и стал терпеливо дожидаться назначенного часа. Через открытое окно мальчик видел, как в небе понемногу проступают серебряные звёздные блёстки, и слышал нежные трубящие голоса незнакомых ему крошечных созданий. Эти подлунные музыканты незаметно убаюкали Лёньку, и он медленно поплыл куда-то, прямо сидя на стуле.

...За стеной очнулись старые часы и принялись гулко отбивать прощальный гимн минувшему дню. Вздрогнув, Лёнька понял, что ему пора, и на ощупь, стараясь ни единым звуком не спугнуть чутко дремлющую тишину, направился в кухню.

Там он отыскал коробок спичек и керосиновую лампу, которая про всякий случай всегда стояла на подоконнике в полной боевой готовности. Лёнька перенёс её на стол, неумело снял округлое стекло и запалил фитиль. Потревоженный червячок сразу вспыхнул, но темноту вокруг не рассеял, пока Лёнька не прикрыл его стеклянным садком. Кухня чуть проявилась смутными очертаниями предметов. Мальчик прибавил света и огляделся. Нигде не было не души, и даже дымчатый кот исчез со своей любимой лавки, и вечно плачущий рукомоёйник не ронял в ведро привычных слез.

Запинаясь на каждом слове и озираясь по сторонам, Лёнька произнёс заклинание, но ничего не произошло. Решив, что прочитано было плохо, он повторил свой призыв. И опять всё осталось по-прежнему. Тогда мальчик громко начал в третий раз:

– Домовушка, не чинись, а возьми да об...

– Ну, хватит кричать, – вдруг раздалось над самой его головой. – Подавай сюда свой пирог, раз принёс.

На печке, прислонившись к трубе, сидел некто, весь чёрный и лохматый от кончиков больших, похожих на лошадиные ушей до самых пяток, болтающихся над печным шестком. Лицо незнакомца можно было лишь угадывать под мягкой маской той же густой, овечьей шерсти. Но глаза на нём Лёнька все же разглядел: они остро поблёскивали сквозь мех. Всё это Лёнька уловил в одну секунду, а в следующую он восхищённо выдохнул:

– Ты и есть домовой?

– Я здешний хозяин, – с важностью ответил тот и мягко спрыгнул вниз, оказавшись ростом чуток повыше Лёньки. – Ну, давай пирог или что у тебя там?

Лёнька с готовностью протянул угощение и почувствовал, как ласково коснулась его руки каракулевая ладошка доможила. Не успел он моргнуть глазом, как хозяин управился с пирогом и устремил на Лёньку свой цепкий, блестящий взгляд.

– Ты почто меня звал? – спросил он. Голос у домового

был тихий и глухой: молвит – словно ветер сухими листьями прошелестит. – Сказывай поскорее, а то мне недосуг лясы точить. У меня заботы на дворе – аж сорок три животины, и каждой внимание требуется. Сегодня корове левый бок не поглажу – завтра животом будет маяться, молока хорошего не даст. Крольчиха крольчат на белый свет выпускать готова, не помогу – и сама пропадёт, и детки загинут.

Он поймал горящий Лёнькин взгляд и вдруг передумал:

– Впрочем, времечко у меня ещё есть: крольчата только через час на волю запросятся, а остальное после успею... Говори что хотел.

– Я... – неуверенно сказал Лёнька, – я дружить хотел.

– Со мной? – пришёл черёд удивиться домовому.

– Ага...

Домовой с минуту поразмыслил, испытующе поглядывая на мальчика, и согласился:

– Что ж, давай дружить. А лампу эту больше не зажигай, обойдёмся и так, – он снял стеклянный колпак своей широкой кошачьей лапой и задул огненного светляка. В кухне сделалось темно, но Лёнька по-прежнему ясно видел доможила.

– А теперь давай знакомиться, – предложил хозяин. – Меня Хлопотуном зовут, а как тебя – я знаю. Откуда ты здесь, мне тоже известно. А откуда и зачем я – знать человеку необязательно. Так что вот и познакомились.

– Хлопотуша, скажи мне, откуда ты взялся? – попросил Лёнька. – Из сказки?

– Нет, – твёрдо ответил доможил. – Сказки уже после люди придумали. А откуда мы взялись, про то есть старая-престарая легенда, какую повторяют все домовые уже столько лет, что и не сосчитать. И я её в детстве услышал и на всю жизнь запомнил. Вот только поймёшь ли ты, ведь мал ещё, – в раздумье произнёс Хлопотун. – Ну, ладно, авось поймёшь... Так слушай.

...Много веков назад жило на земле большое и весёлое племя. Хотя имело оно уже тогда и рога, и длинные хвосты, никто в сердцах не называл его проклятой нечистью, потому что это был самый мирный и добродушный народ на всём белом свете. Он жил на вершине неприступной горы, где в открытые окна домов забредали лёгкие облака, и рогатая девица любила играть ими, как подушками. Наши предки не знали, что такое зло, и жизнь их протекала в радости и покое.

Но однажды ночью они проснулись от страшного зарева, охватившего полнеба. Все выскочили из своих домов и бросились на площадь, где зарево полыхало ослепительнее всего. А там в лучах небесного огня высилась грозная фигура исполина, закутанная в длинный чёрный плащ. Чёрные волосы незнакомца развевал ветер, а глаза сверкали на бледном лице, как чёрные угли. Облик его был так ужасен, что каждый невольно содрогнулся.

И вот великан разомкнул свои уста.

– Вы, беспечное племя, укрывшееся среди высоких гор! – ледяным голосом заговорил он. – Вы прячетесь за стенами

убогих лачуг и не хотите видеть дальше собственного носа. А если бы ваше сознание сумело объять земли, населённые людьми!.. Вы ужаснулись бы от злодейств, которыми полна человеческая жизнь! Вы бы увидели, как ради денег и власти люди забыли своё предназначение – быть хранилищем священного духа свободы – и сделались рабами злобы, зависти, мщения. А вы в это время радуетесь солнцу и облакам.

Я пришёл, чтобы вернуть людям утраченную свободу духа, имя мое – Светоносец. Я выбрал вас, ещё не изведавших зла и способных победить его, для великой цели. Я дам вам такую силу, которая и не снилась смертному. Мы не станем ждать, пока люди сами прозреют от своих злодейств. Мы под корень уничтожим низкие страсти, владеющие безумцами, даже если они не захотят этого. Мы сделаем их счастливыми силой. Мы будем суровы и непреклонны, мы не станем жалеть людей для их же блага. Мы неслыханно ускорим прозрение человека, мы свернём века в часы и часы в мгновенья.

От страстной речи Светоносца маленькие сердца беззаботного прежде народа забились в стремлении поскорее спуститься к людям. Глаза загорелись, и в каждой паре отразился чёрный огонь от глаз Светоносца. Растерянность сбежала с лиц, и толпа плотно сомкнулась вокруг своего вождя.

– Готовы ли вы? – сурово спросил тот.

– Готовы! Веди нас!

Чёрный Светоносец вскинул руки, и голос его загремел как неистовый ураган:

– Даю вам неистребимую силу и власть над человеком! Ступайте со светом!

И вслед за этим могучий порыв настоящего урагана подхватил решительное племя, закружил его над родным городом с опустевшими домами и понёс в холодные недосыгаемые выси, чтобы оттуда рассеять, как зёрна для посева, по всей земле...

...Голос Хлопотуна прервался, и острые уши вздрогнули.

– Вот и вся легенда, – с волнением сказал он. – Что было дальше? Получив такое могущество, мои предки бросились выполнять волю Светоносца, но это оказалось нелегко. Упрямые люди не хотели расставаться со своими грехами, а по правде сказать – и не могли. В долгой битве совсем извелись Светоносцевы слуги. Вспомнили, как тот благословлял их: «Мы не станем жалеть людей для их же блага», и пошли рубить с плеча без всякой уже оглядки. Что тут началось... Полилась кровушка со слезами пуще прежнего, а счастья не прибавилось. Совсем ожесточилось Светоносцево войско, карало уже и правого, и виноватого, забыв, для чего пришло со светом к людям.

И долго творилось всё это, пока однажды кое-кто из хвостатого племени не задумался: для чего тянется из века в век безнадёжная эта вражда? Сначала немногие, а потом всё больше усталого народу засомневалось. Вспомнили старую легенду про прежнее житьё в горах и запечалились: ради чего променяли свою мирную жизнь на вечное беспокойство

гонителей? Захотелось им вернуться в свой город, да как его найти? Про то легенда им не говорила. А может, и не стало уже на земле того города, рассыпало его время в прах, и ветер без следа этот прах развеял. Ещё пуще затосковало обездоленное племя... Тут и пригляделось оно впервые к людям без своей вечной враждебности. И что же? Увидели недруги человеческого рода, как изменились люди за прошедшие века, как всё сильнее учились любить друг друга и сами боролись со злом в своей жизни.

Горше горького стало обманутому народу за свою вражду: «Мы людей злодеями считали, как могли изводили, а они куда лучше нас и своё счастье, свою свободу сами найдут». И решили тогда никуда не ходить, остаться жить где жили и искать людской дружбы. Ведь как получилось: после Светоносцева урагана каждый угодил в какое-нибудь место да там и осел. Кто шлёпнулся в реку или болото – стал водяным, кого в лес занесло – лешим, кто в степи пристанище нашёл – полевиком.

Нам, домовым, больше других повезло. Наши предки прямо к людям попали и в их домах устроились. Мы к человеку ближе всех были, сильнее всех к нему привязались. Помогать начали, охранять, из лютых врагов сделались добрыми друзьями. У нас теперь и заботы общие, и надежды. Помогаем, как умеем, человеку вернуть свою свободу. А ведь и наша свобода где-то быть должна, и наше счастье. Не верю, что для одних пакостей мы все на земле появились. Хотя вон

если нашего водяного взять, так он и до сей поры на белый свет злобится, всё норовит лихо учинить. Ну и прочие иные никак от прежних повадок не отвыкнули. А много таких, кто и лютовать больше не хочет, и к человеку всё не прибьётся.

Я же так понимаю, что без человека нам нельзя, и когда про тот город в горах вспомню, так не жалею, что туда дороги нет. Хоть и понаслышке о нём знаю, а всё-таки думаю: что за жизнь там была? Жили все, как трава в поле, никто ни о чём не думал, радовались своему покою – и всё тут. Нет, Лёнька, уж я с человеком останусь, хоть и трудно бывает ужиться с ним...

...Хлопотун умолк, устремив свой взгляд в какие-то недосягаемые для мальчика дали и изредка пошевеливая ушами. Лёнька давно уже замер в своём уголке, как воробей в потаённой нише. Вкрадчивыми бледными щупальцами в кухню незаметно пробралась луна и опутала всё тонкой, тускло мерцающей паутиной. Хлопотун встрепенулся и шумно фыркнул:

– Ну, больше мне нельзя задерживаться, пора в крольчатник. А ты спать ступай.

– Хлопотуша, – несмело спросил Лёнька, – а ты ещё придёшь?

– Приду, – пообещал тот. – В другой раз можешь и не дожидаться полуночи. Как стемнеет, придёшь и позовёшь.

– Домовушка, не чинись?.. – заулыбался Лёнька.

– Дался тебе этот домовушка, – отмахнулся Хлопотун. –

Придѣшь сюда и просто подумаешь обо мне. Я тебя так ещё быстрее услышу.

Проговорив это, домовый встал, по-кошачьи размял гибкое, пружинистое тело и неслышно удалился во двор.

ДВА ОЗЕРА

Когда наутро с последним, девятым, ударом часов дед Акимыч как штык появился в кухне, заспанный Лёнька ещё плескался под рукомойником, силясь победить свою дремоту.

– Проспал нынче, Фёдор Акимыч, твой друг, – сказала бабушка. – Еле добудилась.

Акимыч внимательно поглядел на Лёньку, но ничего не сказал и вместо этого поинтересовался у бабушки:

– Что новенького, Антонина Ивановна?

– Новенького-то? А прибавление у нас в хозяйстве знатное, – засмеялась бабушка. – Крольчиха моя, Черноушка, нынче ночью восемнадцать крольчат принесла. Сколь помню, никогда больше двенадцати их не появлялось. И Черноушка у меня махонькая да невзрачная, а вот поди ж ты...

Бабушкина новость привела Акимыча в восторг:

– Богатырка она у тебя, Ивановна, мать-героиня! Да ты бы показала свою рекордсменку, желаю на неё своими глазами посмотреть!

– Ах ты Фома неверующий, – весело укорила его бабушка. – Ладно, идём, откроем маточник.

Лёнька насилу дождался возвращения деда и встретил его уже одетым в свою походную форму. Едва они тронулись

в путь, как мальчик принялся выкладывать Акимычу про свою встречу с Хлопотуном, и легенда, которую он пересказал, как умел, тронула деда необычайно. Он на лету ловил каждое Лёнькино слово и то кивал согласно, то вскидывал свои редкие брови, то низко опускал голову. Когда Лёнька закончил рассказ, Акимыч ещё долго обдумывал что-то и, казалось, даже забыл про своего спутника. Тот не мешал, пока ему самому не пришла в голову неожиданная мысль.

– Дедушка, – сказал он, – выходит, что все они к нам пришли напрасно?

Акимыч не удивился вопросу, словно и сам думал об этом.

– Сдаётся мне, что не напрасно... Ведь отчего люди лучше стали? А оттого ещё, что все вместе боролись со Светоносцевым злом... И домовые уже своё дело по-другому разумеют – к добру тянутся, нам помогают. Вот и опять получается, что не зря сюда пришли. Понимаешь? Ну, молодец, если так. А теперь гляди...

Перед ними открылось лесное озеро. При виде его Лёнька в недоумении остановился. Совсем иначе рисовалось ему это место. Маленькое озеро было тёмным до черноты. Вековые деревья обступили его, вытянув над непрозрачной водой длинные косматые лапы. Когда солнечный луч касался чёрного зеркала, он не зажигал мёртвой глади и сразу проваливался в неведомое и мрачное зазеркалье. Да, озеро казалось безжизненным, но таило что-то пугающе хищное, что несёт

с собой только живое, и от этого Лёнька поёжился и придвинулся к деду. Акимыч же не отрывал глаз от сумрачной заводи.

– Вишь ты, дышит чёртова бездна, – вслух подумал он.

– Почему бездна? – не понял Лёнька.

– Потому что озеро это провальное, – рассеянно ответил дед, – бездонное...

– Совсем нету дна?

– Дно, конечно, должно быть, но никому его не доводилось ни достать, ни увидеть, уж больно глубоко. Помню, по молодости и нам приспичило как-то чёртов колодец измерить. Связали несколько верёвок да с камнем на конце с плота и бросили. Всю верёвку, Лёнька, размотали, а камень тянет и тянет. Тут нас оторопь взяла, верёвка-то сажень в тридцать вышла. Переглянулись мы и давай к берегу грести что было сил. И верёвку даже тянуть не стали, пропади она пропадом!.. Пускай удавится ею чёрт водяной! – с неприязнью закончил Акимыч.

– Кто удавится, дедушка?

– Да я же и говорю тебе – водяной!.. А то ещё сказать – озёрный дух. Вишь, какое место для житья себе выбрал. Это озеро исстари Чёртовым слывёт, сколь народу кануло в него без возврата! Многие не то купаться – и близко подходить боялись к дьявольскому владению. Ведь зазеваешься – и утащит пучеглазый жабьими лапами на самое дно!

– Ты, дедушка, и водяного видел? – готов был поверить

Лёнька.

– Нет, милый, Господь уберёт, – облегчённо вздохнул дед. – Увидеть водяного – это, Лёнька, всё одно, что накли-
кать неминуемую беду на свою голову. А вот деда моего, Мат-
вея Спиридоныча, свела-таки судьба с нечистым. И великое
горе он, Лёнька, про то имел.

Акимыч оглядел напоследок недоброе озеро и махнул ру-
кой:

– Пошли-ка, Лёнька, на озеро Светлое... А по дороге я
тебе расскажу, какое мой дед горе принял.

...Приключилось это давно, когда деда ещё Митькой кли-
кали, ему в ту пору десятый год всего пошёл. Пески были то-
гда большими да богатыми. И жила в них девочка Настя, ро-
весница деду. Дружили они сизмальства, чуть не с пелёнок,
и уж как дружили – водой не разольёшь. Взрослые, глядя на
такую недетскую привязанность, толковали, что быть Мить-
ке да Настеньке всю жизнь вместе. Ан вышло по-иному.

Пошла как-то Настенька с матерью в лес, то ли за ягодой,
то ли за другой какой надобностью. И как набегались по ле-
су, приустиали, вывела их дорожка на это распроклятое озе-
ро. Его бы обойти стороной, да как нарочно пить схотелось.
Настенькина мать и задумала набрать здесь водицы. Дочку
на бережку оставила, а сама стала тропинку к воде искать и
отошла далече от девочки. Вдруг та как закричит! Оберну-
лась мать, а Настеньку водяной уже в озеро за косу тащит.
Баба назад, да куда там! Забурлила вода, и не стало Настень-

ки.

До самого заката просидела мать у озера, всё вымаливала дочку у водяного. Не вернул тот своей добычи. И когда пришла бедная в деревню, люди не узнали её: волосы седые, а сама почернела вся – ну, старуха старухой. А ведь была до этого молода и черноволоса...

Только не одной ей страданье выпало. Дед мой как узнал про Настеньку, так и бросился к озеру. Мечется на берегу, плачет, всё в воду норовит прыгнуть. Мужики его еле отогнали, боялись, что порешит себя хлопец почём зря. Все дивились: и откуда в таком малом сердечке такое горе великое?

... Оно и впрямь великое было, хотя время и не такие раны залечивает. Настеньку с тех пор никто не видел, и помаленьку стал Митька забывать свою подружку. А как возмужал, вовсе боль в душе улеглась. Да ведь живой – он о живом и думает, а деду в ту пору уже двадцать годков минуло, пришла пора, значит, свою семью заводить. Выбрал он и невесту себе, и уж свадьбу назначили... Как вдруг словно подменили Матвея. Был и здоров, и весел, а тут сник и вроде спит наяву. И работает, и заговорит – а мысли бог знает где. Что за беда?

А случилось вот что. Раз проводил Матвей невесту до дому и к себе возвращается. Ночь тёплая да светлая – далеко видать... И глядит он: у родной калитки стоит кто-то, поджидает его... Подошёл ближе – девица, одета чудно, волосы расплетены, а глаза огромные, как озёра, и такие грустные...

– Здравствуй, Митя, – говорит.

Удивился дед: красавица-то незнакомая, не деревенская, а знает его.

– Да ты не узнаёшь меня? – спрашивает та.

Тут дед и вовсе смутился. А голос девичий такой печальный, словно она несказанную муку терпит. У Матвея от жалости аж сердце зашлось. А странная гостья продолжает:

– Жениться решил... Забыл-таки Настеньку.

Вздрогнул парень, как полотно побелел. Видит – точно Настенька перед ним, она самая. Да где же было узнать её сразу – выросла, расцвела, и ведь сколько лет прошло. Стоит он и глаз оторвать не может, и что сказать – не знает. А Настя руку к нему протянула, и на ней старенькое резное запястье – детский Митькин подарок.

– Ну, узнаёшь? – спрашивает.

– Узнаю...

– Любишь ли ты ещё меня, Митя?

– Люблю, – отвечает дед. – Тебя одну только все эти годы и любил. А что жениться решил – так ведь надобно жизнь по людским законам проживать. И рад бы одну тебя в дом ввести, да ведь утонула ты, Настя!..

– Нет, – молвит та, – не утонула я, а стала русалкой. И куда ты любишь меня и не изменил своей Настеньке, дорога мне обратно не заказана. Один ты и можешь вернуть меня к людям...

– Да как же это сделать, Настенька?! – воскликнул дед.

– Непросто, Митя, – она отвечает. – Но ведь ты не испу-

гаешься водяного, чтобы вызволить меня?

– Не испугаюсь!

– Тогда в последнюю ночь десятой недели после святой Пасхи приходи на Чёртово озеро и дождись там полуночи. Что тебя ждёт, сказать не могу. Но коли не струсил – буду твоей, а нет – на веки вечные останусь русалкой.

– Не струшу, милая, – заверил Матвей.

Был он в самом деле не робкого десятка, а за свою Настеньку и жизнь бы положил. И любовь к ней после того свидания вспыхнула с такой силой, что позабыл Матвей про всё на свете, совсем извёлся в ожидании назначенной ночи. И вот подошла к исходу «русалочья неделя».

Поздно вечером Матвей осенил себя крестным знаменем и пошёл к роковому озеру. Подкрался к нему – тишина вокруг. Луна в небе прямо горит, всё кругом серебром осыпала. Под луной озеро сверкает, ничего-то в нём не разобрать... И такая нестерпимая тоска сердце щемит, какой Матвей отродясь не знал. Не успел он ещё свыкнуться с этой тоской, как что-то мокрое проползло по щеке. Вскинулся – никого, лишь болотной тиной запахло. А Матвея всего будто дьявольской водой из озера окатило. «Не ты ли это, чудище водяное, меня приласкал?» – мелькнуло в голове, и Матвей крикнул:

– А хоть бы ты весь на меня навалился, не побоюсь тебя!

Выходи!

И снова жуткая тишина в ответ. Стоит парень как натяну-

тая струна, не знает, с какой ему стороны подвоха ждать. А дух озёрный не торопится, может, и впрямь ждёт, что Митька струсит. И вдруг словно камень на дальнем берегу в воду сорвался, а вслед за ним:

– Кулыма, Кулыма, ты тыма? – истошным голосом закричал кто-то. А из воды почти у самых Митькиных ног другой голос простонал:

– Только сейчас...

Холодный пот прошиб Матвея от этих нечеловеческих голосов. Одна память о Насте и удержала его на страшном озере. Поняв, что пришла решающая минута, он приготовился ко всему. Но того, что случилось, не мог и представить себе. Чёртово озеро накренилось к нему, и берег, откуда звали Кулыму, начал медленно подниматься. Словно огромная водяная стена нависла над Митькой, грозя смести его как песчинку. В ужасе бросился он в сторону и едва сделал первый шаг, как ноги сами понесли его прочь от чёртова логова. Хотел остановиться – ан мочи нет. Обернулся, глядь – озеро уже к нему поднялось, а вода и каплей не пролилась из него. Лишь на миг прояснилось колдовское зеркало, и в нём увидел Матвей свою Настеньку. Глядела на него из воды прекрасная русалка, а по щекам у неё, как жемчуг, катились слёзы...

Ничего боле не запомнил Матвей. Словно обезумел он, увидев прощальные Настины слёзы. Придя в себя, кинулся обратно к проклятому месту. Тихое да гладкое лежало озеро в берегах и уж не сулило никакой надежды. А когда стало

светать, увидел Матвей на еловом суку давешнее Настенькино запястье...

Акимыч умолк, и Лёнька молчал, впервые столкнувшись с чем-то страшным и непоправимым.

– А после женился-таки дед на моей бабке, – добавил Акимыч. – Хотя с той ночи почитай три года, словно вдовец, людей сторонился, уст не размыкал. То ли казнился за своё малодушество, то ли просто Настю забыть не мог. Ну а бабка моя всё ждала эти годы да и дождалась. Очень она деда любила и не дала пропасть. А ведь пропал бы, ей-богу, пропал...

Акимыч нахмурился и ускорил шаг, Лёнька теперь едва поспевал за ним. Мальчику самому было невесело от встречи с Чёртовым озером, а ещё грустнее – от услышанной истории... В каждом бледном пятне среди еловых лап ему мерещилось заплаканное лицо русалки. Ненароком Лёнька заметил, что на этот раз они с дедом зашли далеко. Сосновый бор вокруг сделался глуше и непрогляднее. Молодая поросль уже не разбегалась весёлым хороводом, а переплеталась в непроходимую чащу. Сучья под ногами ломались с неожиданным, резким хрустом, заставляя Лёньку вздрагивать. Мальчик не узнавал леса, вчерашний друг казался ему неласковым, хмурым незнакомцем. Акимыч заметил это и как будто смутился.

– Что, Лёнька, нагнал я на тебя страху? – виновато спросил он. – А хочешь, научу не бояться?

– Хочу! – мигом откликнулся мальчик.

Дед взял его за плечо:

– Ты думаешь, я опять слово какое заветное скажу? Нет, милый, страх словами не заговоришь, такое это, брат, чудище...

– Чудище?! – вырвалось у Лёньки.

– А ты как думал? И лапы у этого чудища скользкие и холодные. Как сцапает ими – так уж не отпустит, всего измучает... Смотришь, и совсем человек голову потерял от него. А всё-таки любой страх победить можно, если взять – да посмеяться над ним. Самое это лучшее средство, чтоб не бояться. И если на водяного без страха посмотреть, тоже, думаю, одно посмешище останется. Хоть возьми опять моего деда в ту ночь... Не побеги он тогда – и неизвестно ещё, кто кого... Не зря же говорила Настя, что главное – не убояться водяного.

– Но дедушка, – вспомнил Лёнька, – Настеньку-то он утащил...

– Утащил! Да опять же почему? – упрямо возразил Акимыч. – Ты подумай, вылез он, такое страшилище, да к десятилетней пташке!.. Та и зашла от страха. А не утрашишься она лягушачьей морды – и ничегошеньки не сумел бы сделать склизкий бес! Вот ты сейчас дрожишь, всё-то тебе жутким кажется, так?

– Кажется, – сознался Лёнька.

– А ты посмейся над своим страхом!

– Как?

– А так! Почуял его – и сразу вспомни, что он букашка. Захочешь – мимо него пройдёшь, захочешь – по усам его щёлкнешь.

Лёньке это понравилось. Страх представился ему в виде усатого тараканища из детской сказки, которое сумело запугать всех зверей, хотя было простой козявкой. И вслед за этим Лёнькина боязнь улетучилась безо всякого следа. Он живо огляделся по сторонам и понял, что в какой-то неуловимый миг сквозь лохматую, низко нахлобученную шапку леса пролились солнечные лучи. Мальчику показалось, что этими золотыми ключами солнце отомкнуло тайные кладовые леса, которые вспыхнули и заискрились несметными сокровищами сказочных владык.

– Вот это да! – не удержался мальчик, засмотревшись на преображённую чащу.

Вскоре стена леса оборвалась – тропинка вывела друзей на опушку.

– Ну, вот и добрались, – с удовольствием произнёс Акимыч, – сейчас вон косячок лесной обойдём – и озеро будет. Светлое, большое – тому не чета.

...Лёнька даже глазам своим не поверил, когда открылась перед ним бескрайняя водяная ширь – озеро Светлое величаво покоилось в огромной и тихой колыбели.

– Как море! – невольно вырвалось у Лёньки.

– Здравствуй, батюшка, – чинно поклонился Акимыч.

– Ты, дедушка, с водяным? – спросил мальчик, привыкая

уже к дедовым обычаям.

– Зачем это? – прищурился тот. – Я озеро уважил. А что величаю так, то ведь оно заслуживает. Вишь, красота какая несказанная да неоглядная.

– Да разве оно тебя слышит?

– Экий ты невер! – пожурил Акимыч. – И слышит, и видит, и думку свою про нас держит. Я ли тебе не говорил, что всякая былинка разум имеет? А тут – озеро!

Дед, конечно, был прав. Испугавшись, что теперь он надолго умолкнет, мальчик спросил:

– А водяной тут есть?

Старик пожал плечами:

– Про этого я ничего не слышал за всю свою жизнь. Ежели кто и есть, то, должно быть, смиренный, лихоимства за ним не водится...

– Ну а как ему и не быть? – вдруг строго сам себя спросил Акимыч. – Кто же тогда за порядком здесь следит? Кто рыбу в озере водит, от жадного рыбака прячет, а совестливому в самые сети загоняет? Кроме водяного некому, – подытожил дед. – А в таком великом озере работы непочатый край: и днём, и ночью...

Тут ещё одна догадка осенила его:

– Лёнь, а Лёнь, ты как думаешь, в чистом да богатом озере станет водиться лютый дух?

– Не станет, – без колебаний ответил Лёнька, и Акимыч довольно кивнул.

...Противоположный берег озера таял в дымке летнего зноя, такой же простор открывался глазам слева и справа. Светлое озеро казалось упавшим на землю небосводом. В синеве его почти терялись редкие рыбацкие лодки. Лёнке они виделись всего лишь тёмными чёрточками, и те поминутно растворялись в жарком мареве.

– А ты, дедушка, тоже здесь рыбу ловил?

– Давно, милый, ох как давно было дело... В детстве помогал отцу промышлять. Ловили тогда всё больше сетями да неводами. А рыба, знаешь, какая была? Вытащили сома однажды – так на телегу его забросили, а хвост по земле волочится, во какой сомище! Или ещё был случай. В ту пору больших сомов ловили на донную удю. Вот один мужик, кажись, из Харина, забросил как-то донную, а другим концом к лошади привязал: мол, дёрнет сом, лошадь испугается, шарахнется от берега да и подцепит усатого, а тут и я подспею. С этим и задремал. А вскинулся от ржания, видит: сом его конягу в озеро тащит; тогда, вишь ты, не леской, а суровой бечевой пользовались. Мужик туда-сюда, чуть не волосы на себе рвёт, а что сделаешь, если даже конь не в силах справиться с такой рыбиной. Так и сгинула животина. Вот и посуди, каков тот сом был. Сейчас такой рыбы уже нет... А озеро это не одной рыбой славно, – Акимыч шагнул к воде, – вот хоть попробуй...

С этими словами он снял кепку, зачерпнул ею воду и бережно протянул Лёнке.

– Выпей, выпей, – настаивал дед, – это живая вода.

Лёнька приосанился и, как сказочный добрый молодец, стал пить чудесную воду – свежую, немного сладкую, веками хранящую в себе богатырскую силу. Акимыч тоже напил-ся от души, потом выплеснул остатки влаги и одел мокрую кепку на голову, нисколько не смутившись этим обстоятельством.

Они устроились невдалеке от воды, растянувшись прямо на траве. Ветер перебирал над ними тонкие, нежные пряди ивняка и крылатым невидимкой носился над озером, оставляя на воде лёгкую зыбь. Если мальчик долго смотрел на неё, ему казалось, что он сам тихо скользит в светлых прозрачных струях, а вода качает его и медленно уносит куда-то...

– Лёня, – тихонько позвал его Акимыч, – а ты плавать умеешь?

Зачарованный непрерывным беспокойством воды, Лёнька молча кивнул. Потом обернулся к деду и добавил:

– По-собачьи.

– Ну что ж, – согласился Акимыч, – и я с этого начинал. И даже, знаешь, чуть не утонул пацаном в этом озере. Мы тогда купаться бегали поближе, отсюда по бережку километра два в сторону Песков. Там недалече от берега есть островок. И считали тебя пловцом, если ты сам до этого островка доплывал. Я в ту пору не старше тебя был, недавно на воде выучился держаться, а от старших отставать не хотелось. Как-то возьми да и похвастайся, что плавать уже умею. Приятели

мои, понятно, не поверили.

– И до острова доплывёшь? – спрашивают.

– Запросто, – отвечаю.

– Ладно, завтра покажешь.

Ну, что оставалось делать, дал слово – держи. Иначе позор на всю округу, Лёнька, и бывает, что аж до самой старости. И поплыл я со всеми, да где мне было за ними угнаться, я ведь по-собачьи, как ты говоришь, грёб. Ребята старшие уже по острову бегают-резвятся, а я, дай бог, едва до середины дотянул. Барахтаюсь, а сам про одно думаю – что слово дал. Так вот и доплыл. Выполз на песочек, а ребята уже обратно собрались и меня кличут. Сказать им, что устал, – чувствую, засмеют. Стиснул зубы да опять в воду плюхнулся. И вскоре оказался я снова один. Сил никаких, не плыву, а скребусь по воде да плачу. Так-то, может, до середины меня хватило, а там уж я тонуть стал. Мне бы покричать, ан стыдно!.. Хлебнул раз, другой и на дно пошёл. А дно в том месте неглубоко было, мягкое такое, бархатное. Лежу я на нём и вверх смотрю. Вода надо мной изумрудная, так и переливается волнами. Ну, думаю, вот и всё, утонул я. И не боязно мне от этого нисколечки. Только чудно: не дышу ведь, и дышать не хочется. Видать, с утопленниками всегда так...

Вдруг вижу, щука со шурёнком ко мне чалятся. Она – такая жердь с руку толщиной, а он крошка ещё. Эх, думаю, щас укусит. А щука уставилась на меня и спрашивает:

– Утонул, что ли?

– Утонул, – отвечаю.

– Что ж тебе, нравится здесь?

– Красиво...

– Красиво! А вот если мать твоя узнает, что ты тут лежишь, то-то красиво будет. Ведь с ума сойдёт!..

И веришь ли, как представил я материны слёзы, так и встрепенулся весь. Затрепыхался, забился да и всплыл. И давай к берегу, к берегу!

– Ты чего это там кобенился? – спрашивают ребята.

– Да так, отдыхал немного.

И больше ничего говорить не стал, домой пошёл. Одному человеку – другу своему закадычному – всё как было рассказал. А он как раз и посмеялся надо мной.

– Как это, – говорит, – щука с тобой беседовала? На рыбьем языке? Или она по-человечьи говорила?

Ну а я откуда знаю? Сам ведь над этим голову ломал. Но говорила она со мной, это точно, и я всё-всё понял...

В голосе его Лёньке почудилась лёгкая обида на старинного дружка. Он внимательно посмотрел на Акимыча и решительно сказал:

– А я верю, что рыбы умеют разговаривать.

НОЧНЫЕ ЗАБОТЫ

Ночью, когда бабушка затихла в своей спальне, Лёнька поспешил в кухню на свидание к домовому. Хлопотун явился туда ещё раньше, но, как видно, не для того, чтобы вести задушевные разговоры, – доможил был поглощён работой.

– Садись на сундук, – озабоченно скомандовал он мальчику, – а под лавкой я чистить буду.

Лёнька не сразу понял, чем занят хозяйственный домовик. Тот меховым шаром не спеша катился по полу, и из-под лап его вырывался какой-то писк и скрежет. Спросить Хлопотуна Лёнька не решался: уж больно серьёзным и строгим казался тот сегодня. Хлопотун докатился наконец до Лёнькиного сундука и мягко ткнулся мальчику в ноги.

– Вставай, – приказал он и отбросил в сторону что-то тихо звякнувшее. Лёнька догадался, что это был один из неизвестных ему предметов деревенской жизни, с помощью которого Хлопотуша очищал деревянный пол от грязи.

А Хлопотун тем временем обнял бабушкин сундук-богатырь, всей грудью приналёг на него и стал теснить вправо. В ответ сундук недовольно заскрипел, слегка подавшись от усилий доможила. Хлопотун фыркнул, как боевой конь, и снова приступил к сундуку. А тому ой как не хотелось сдаваться! Казалось, что он пустил корни и навеки врос в дубо-

вый пол. Хлопотун совсем осерчал и ринулся на сундук со всей своей хозяйской страстью.

– О-о-ох! – побеждённо простонал тот и отъехал в сторону.

– Хлопотун, а бабушка не проснётся? – встревожился Лёнька.

– Для твоей, уф, бабушки у меня особое средство имеется, – Хлопотун нырнул за печку и выбрался оттуда с растрёпанным веником. – «Половица, не скрипи, ты, хозяйюшка, поспи!» Скажу это, и целую ночь твоя бабушка спит как дитя и сладкие сны видит.

– А ещё есть какие-нибудь... – Лёнька запнулся, – поговорки?

– Есть и ещё... всякие, – Хлопотун старательно выметал место за сундуком. – Вот ещё так говорят: «Коли нету домоушки – нет и счастья в избешке».

– Я знаю, – оживился Лёнька. – Мне об этом дедушка Акимыч говорил.

Тут его мысли перепрыгнули на самого деда фёдора и его вредную старуху.

– Хлопотуша, – с беспокойством спросил он, – и у Акимыча в избешке теперь нет счастья?

– Это что Выжитень в сарай сбежал, что ли? – нехотя переспросил Хлопотун.

– Выжитень? – не понял Лёнька.

– Ну да, так доможила их теперь зовут. Это значит, выжи-

ли его из дому – вот он и Выжитень.

Лёньке показалось, что Хлопотун говорит неохотно и даже с какой-то неприязнью к дедову домовому. И точно, вскоре тот бросил через плечо, не отрываясь от работы:

– А уж я ему другое имечко подыскал бы за то, что на всю округу нас, домовых, опозорил...

– Да ты что, Хлопотуша, – растерялся Лёнька, – его ведь и так обидели. Бабка Пелагея невзлюбила его и совсем заругала...

– Ишь ты, заруга-ала, – передразнил Хлопотун жалобный Лёнькин голос. – Да знаешь ли ты, что никто не может выгнать домового из его дома? Хозяин в избе он! Эта сила в нас ещё от Светоносца. И Выжитень вовсе не потому дёру дал, что глупого бабьего визгу испугался, а затем что старика своего пожалел. Дескать, уйду – старуха и успокоится, и уж деда за меня пилить не будет. Понятно тебе?

Лёньке было понятно, но от этого незнакомый Выжитень нравился мальчику ещё больше. Между тем Хлопотун вернул веник за печь, сам вспрыгнул на сундук и с расстановкой заговорил:

– Опозорил он всех нас потому, что ушёл самовольно из дома, оставил его без присмотра. Хуже этого для доможила и придумать ничего нельзя. Да ты сам посуди: дом, хозяйство – всё оставил. А вдруг пожар, вдруг болезнь – ну кто тогда его деду поможет? Иной домовый – уж и хозяев-то на белом свете нету, и дом стоит пустой – а он из него не уходит, до

конца его бережёт. А разрушат дом – он на развалинах жить остаётся. А этот при живых хозяевах из родного дома в заброшенный сарай подался!

Хлопотун был не на шутку сердит, его мохнатые уши не знали покоя. Наконец он решил, что негоже серьёзному доможилу так распалиться впустую, и махнул лапой:

– А что ему! В карты-то можно и в сарае играть!..

И Хлопотун продолжил свою уборку, нисколько не собираясь вести с Лёнкой задушевных разговоров. «Может, мне спать уйти?» – в замешательстве подумал мальчик, но тут другая, простая мысль пришла ему в голову.

– Хлопотуша, а давай я помогу тебе, – предложил он.

Хлопотун, напротив, так удивился, что замер на месте и его глаза от изумления сделались круглыми, как у кошки. Домовой не знал, что ответить, ему никто и никогда ни в чём не помогал. Наоборот, это он, следуя своей склонности, всю жизнь тихо и незаметно помогал людям. То, что сегодня человек захотел подсобить ему, было ужасно непривычно, неправильно и в то же время приятно.

– Да ты, поди, набегался за день-то, – тяжело переводя дух, ответил доможил, – ну а я днём сплю. – И нерешительно добавил:

– Может, в другой раз когда...

Лёнька не понял смятения Хлопотуна, зато хорошо почувствовал, что настроение его изменилось. И тогда он тихонько спросил:

– Хлопотуша, а много в вашей деревне домовых?

– Много? Какой там... Это раньше много было. А теперь раз, два – и обчёлся. Многие за хозяевами в чужие края подались, а остальным и податься-то некуда. В жилых избах только я да Кадило, а прочие – кто где... Кто в пустом курятнике ветру подвывает, кто, опять же, в сараюшке приют нашёл. Один домовёнок в старом магазине поселился, прямо смех. А что ты ему скажешь, неприкаянный мы нынче народ...

Лёнька догадался, что домовёнок – это вроде как маленький ещё домовой, доможилов ребёнок.

– Ну да, дитёнок и есть, – вздохнул Хлопотун. – Да ещё сирота. Прибился тут к нам с год назад. Буду, говорит, в вашем магазине жить, это, мол, самый красивый дом на всю деревню. Ну, живи, какой-никакой, а всё угол... А после поймали мы его. Раз ночью слышим: какие-то голоса в магазине. Мы чух-чух туда, окошко там одно выбито было, так мы к нему. Видим, домовёнок наш стоит за прилавком и важно так говорит:

– Вам, гражданочка, этот платок не подходит. Потому что он в горох, а в вашем возрасте нужно носить поскромнее. Вот, например, возьмите с цветочками, они маленькие, и никто ничего плохого про вас не подумает. А горох лучше купите своей дочке. Она если в городе оденет такой платок, то все сразу и скажут: ну до чего же красивая и нарядная гражданочка, и станут к ней свататься...

Мы стоим, аж рты пораскрывали, а Кадило вдруг как заржёт и всё представление испортил. Продавец-то наш с перепугу под прилавок забился, не высовывается, а Кадилу неймётся.

– Эй, – кричит, – открывай свою лавку! Желая и себе горюх, чтобы в нём жениться! Га-га-га!

Лёньке показалось, что Хлопотун и сам смеётся, хотя наверняка этого не сумел бы сказать никто: лицо домового было так густо покрыто чёрными шёлковыми завитками, тесно прильнувшими один к другому, что в лабиринте этих завитков заблудилась бы всякая улыбка. И лишь голос домового безошибочно выдавал его настроение: то сухо и отрывисто шелестел поздней листвой, то ласкал слух лепетом первой зелени.

– Он после того конфуза с неделю на глаза не показывался, – с невидимой усмешкой продолжал Хлопотун. – Думали уже, что совсем сбежал из Песков. Я тогда Кадилу чуть самого с деревни не погнал. Ему и всегда-то лишь бы позубоскалить, а малый застыдился... Но ничего, объявился через неделю, а мы сделали вид, что никакой такой торговли в магазине и не видели. А недавно новую штуку выкинул наш пострелёнок. Тут к нам один дачник наезжает – расфуфыренный, прямо весь в картинках. Так наш выдумщик у него фуражку стянул и сам её носит. Фуражка такая забавная, разноцветная, и впрямь малолетке носить... За это домовые его Панамкой прозвали.

– А что за Кадило? – решил заодно узнать Лёнька.

– О, это громкая личность. Для Песков наших даже чересчур громкая, – загадочно ответил Хлопотун. – Постой, да ты хоть знаешь, что такое кадило? Понятно, откуда тебе... Ну, тогда и говорить зря нечего. А лучше возьму я тебя с собой на наши посиделки, раз ты такой любопытный. Завтра, если к полуночи не сморит, пойдёшь со мной, а? – нарочито сурово спросил Хлопотун.

– Пойду, Хлопотуша! – Лёнька аж подпрыгнул от радости. – И Панамка туда придёт?

– Прибежит, без него у нас ничего не обходится, – хмыкнул Хлопотун. – Ладно, давай-ка прощаться, стану дальше работать.

– Хлопотуша, – остановил его Лёнька, – бабушка сегодня очень радовалась крольчатам.

– Как не радоваться, – довольно отозвался домовой. – Я своё дело знаю. А вот кабы и я побежал из избы? То-то и оно. Ты, кстати, бабушке своей скажи между прочим, что на сушילה, мол, яйца куриные видел, в сене, прямо у окошка. Это Рябушка взялась там не у места нестись...

УТРО БЕЗ АКИМЫЧА

С утра в кухне Лёнька нос к носу встретился с бабкой Пелагеей.

– А-а, вот и наше солнышко ясное встало! – сладко проголосила она и потянулась к Лёньке не то обнять, не то погладить.

– А где дед? – вытаращился тот.

Пелагея Кузьминична сокрушённо охнула:

– Слышь, Тоня, уж я и не гостья для него, деда ему подавай!

Она всё-таки ухватила и притиснула Лёньку к себе, а бабушка откликнулась:

– Ты Акимыча скоро не жди, он за провизией в Раменье поехал.

Заметив, как мальчик сник от такой новости, она подмигнула Пелагее:

– Вишь, как внучек мой к твоему деду привязался. И с бабушкой родной побыть не хочет. Видать, правду Фёдор говорит, что скучно с нами...

Пелагея сняла с плеч большой, пёстрый, как цветочная клумба, платок, основательно перепеленалась им и, усевшись на лавку, сообщила бабушке:

– От деда моего во всю жизнь умного слова не дождёшься!

Ни умом, ни ростом не вышел...

– Будет тебе плакаться, – перебила её бабушка. – Зачем тогда замуж за него шла?

Пелагея встрепенулась.

– А по молодости да по глупости! – отрезала она. – Интересно было байки его слушать, совсем заморочил мне голову этими байками. Другим женихи подарки дарят, а Федька мне то цветок всучит, то коряжку из лесу притащит – дескать, гляди, как на медведя похожа. Я, дура, и гляжу... Вот так всю жизнь у меня одни коряжки...

Пелагея вовсе затужила, так что Лёньке захотелось утешить её. Он мог бы рассказать, как хорошо знает Акимыч лесные тайны и умеет ладить с любой лесной живностью, но понимал, что Пелагею это не обрадует, и потому спросил у бабушки:

– Он на машине поехал?

Бабушка рассмеялась:

– Какая там машина! На велосипеде потрясся. Я печку ещё растопить не успела, а он уже с улицы в свой звонок звонит: «Какие заказы будут?» Так что, Лёня, может, ещё и поспеет к обеду твой друг.

– Дождидайся, ага, – насмешливо поддакнула Пелагея. – Он сегодня с кумом до вечера язык чесать будет. Да ещё в магазине всё перепутает. Каждый раз хоть что-нибудь да забудет. Или того хуже... Ты помнишь, Тоня, чего он мне в прошлом году привёз? Баромитор какой-то! Давление, гово-

рит, в воздухе будем мерить, как синоптики. Падает давление – значит, к дождю, а поднимается – так к вёдру. Ну и на кой ляд, говорю, мне этот баромитор, если я всё это своей поясницей уже двадцать лет меряю? Да ещё бесплатно, а, синоптик ты дремучий? А твоя хреновина аж три рубля с лишком стоит. И что мне – сеять, убирать? Завтра же, говорю, чтобы свёз её обратно, и пускай деньги вернут да впредь у себя дураков ищут.

Бабка Пелагея сидела на лавке, завернувшись в свой платок, как большая цветочная копна, говорящая недовольным голосом. Попробуй подступиться к такой! Однако Лёнькина бабушка, похоже, не замечала Пелагеиной суровости.

– А без деда твоего, – вступилась она за Акимыча, – нам и вовсе провизии не видать. Если, конечно, сами в Раменье не поплетёмся... Глядишь – к вечеру и доползём.

– Да по мне, – снова всколыхнулась Пелагея, – хоть бы и вовсе из Песков уехать! Какое тут житьё – глухомань, на пятнадцать вёрст одна глухомань! Ни больницы, ни магазина. Здесь только одичалому моему и хорошо, снуёт по лесу день-деньской, словно сорока. А у меня, опять говорю, поясница. Бывает, так прихватит – хоть помирай. Как же мне без доктора?

Бабушка Тоня лишь вздохнула. Грустно было и Лёньке. Дед, правда, ничего не обещал, но мальчик всё же надеялся, что с утра тот придёт за ним. А теперь... Впереди был длинный день, но без Акимыча он не сулил ничего интерес-

ного. Не бабушкиных же кур в самом деле сторожить Лёньке на пару с глупым петухом. Вот если бы сейчас попасть к домовым на посиделки... Но ведь они спят, и Хлопотун спит, умаявшись за ночь.

«А где это он спит?» – подумал Лёнька, украдкой оглядывая бабушкину кухню. Нет, в кухне ему спать негде. И в комнатах не спрячешься – найдёт бабушка, ведь она целый день суетится по дому. Неожиданно мальчика осенило: чердак! Вот где никто не бывает, вот где самое укромное место для домового. Однако как попасть туда? Лёнька завозился на стуле.

– Ба-а, – придумал он наконец, – у тебя на сушиле, возле окна, много яиц. Зачем они там?

– На сушиле? Мало им курятника, – проворчала бабушка. – Постой, а зачем ты туда лазил?

Лёнька помялся:

– Так... Интересно было, – и добавил поспешно: – А можно, я на чердак слажу?

– О! – вместо бабушки отозвалась Пелагея. – Вот ещё челнок, поесть не успел – на чердак ему. Пыли, что ль, не видал?

– Ступай, – отпустила Лёньку бабушка. – Гляди, на лестнице осторожно...

Лёнька выскочил в коридор и услышал напоследок:

– А я не пустила бы, нечего там делать!..

...Для мальчишки лестница – пустяк. Лёнька взлетел по ней и остановился в полумраке чердачного свода. Всего два

маленьких оконца пропускали сюда через мутное стекло немного солнечного утра... Тусклый свет не разбежался далеко от окон, и почти повсюду лежала густая и загадочная темнота.

Когда сумрак стал понемногу рассеиваться, мальчик понял, что ненароком очутился в царстве старых, никому не нужных вещей. Они теснились в беспорядке, громоздились друг на друга, поражая самым невероятным сочетанием силуэтов... Печная труба уходила в крышу прямо посреди чердака, а вниз со стропил спускалась гирлянда берёзовых венчиков... Огромный медный самовар восседал на рассохшемся бочонке для солений. В раскинутую рыбацкую сеть угодило полдюжины худых лукошек. В самом углу оказался сундук, должно быть, меньший брат того, что стоял в кухне. Он и ростом был пониже, и дородностью не вышел. Может, поэтому ему выпала такая незавидная доля – доживать свой век на чердаке среди прочих позаброшенных вещей. Лёнька заметил, что на месте прежнего запора на сундуке темнеет дыра, и поднял крышку. Внутри покоилась бесформенная груда тряпья, из которой одиноко торчал стоптанный лыковый лапоть. Мальчику сделалось как-то неловко оттого, что из пустого любопытства он потревожил покой этих отживших вещей. Он тихонько закрыл сундук и собрался продолжить путешествие по чердаку, как вдруг... Тихое лошадиное ржание почудилось за его спиной...

– Хлопотуша! – обрадовался Лёнька и завертел головой. –

Ты где? Ты поиграть со мной хочешь?

Никто не ответил ему, и ничто не шевельнулось в пыльном чердачном мраке. Лёнька принялся искать Хлопотушу среди облезлых рам, разбитых ящиков и обломков дряхлой мебели. Нечаянно он задел этажерку, жавшуюся к балке, – у неё не хватало одной ножки. Этажерка испуганно пошатнулась без привычной опоры и рухнула вниз. Её деревянные рёбра так горестно застонали, что Лёнька зажмурился. А открыв глаза, увидел... словно выросшего из-под земли чёрного коня. Видно, давно вырубил его из дерева, раз и он оказался на этом чердаке. Его седло потёрлось под прежним седоком, одно ухо в горячей битве отрубила вражеская сабля, но большие глаза смотрели на Лёньку спокойно и бесстрашно.

– Так это ты звал меня? – спросил мальчик, слегка потрепав вороного по загривку, и тот благодарно потерся о Лёнькину руку. Позабутый всеми в этом тёмном стойле, он почти утратил надежду ещё послужить человеку верой и правдой. Но вот пробил его час, добрый молодец нашёл своего товарища, и невидимые трубы позвали их в дорогу. Лёнька прыгнул в седло и приник к буйной гриве вороного: ну, поехали!.. И тут же тесный свод чердака раздвинулся, исчезла острая крыша, и необъятный ночной небосвод заблестал россыпью голубых звёзд. Свежий ветер бросился навстречу и дохнул чистым запахом хвои. Вороной задрожал от нетерпения, и Лёнька шепнул ему:

– Пора, скоро пробьёт полночь! Спешим на помощь Матвею и Настеньке.

Вороной ответил преданным ржанием, взвился на дыбы и понёс своего всадника к темнеющему лесу. Лёнька оглянулся на Пески и увидел большую, наполненную жизнью деревню, отдохавшую в тишине. То была тишина, в которой люди набирались сил на завтрашний день, а не глушь запустения и утраты.

Скоро Пески скрылись из глаз, а конь летел по лесной тропинке, стрелой проносясь мимо вековых стволов. Лёнька прильнул к его горячему, переливающемуся телу и больше не понукал вороного, не направлял его бега, а тот мчался с такой быстротой и уверенностью, словно уже видел беду у Чёртова озера и понимал, как дорога каждая секунда.

Темнота оборвалась, и конь вынес Лёньку к озеру в тот момент, когда оно качнулось, дальний берег его стал расти, и колдовская вода поползла к небу. Тут мальчик увидел Матвея...

Матвей не сделал ещё непоправимого шага, но случившееся уже поразило его, сковало ужасом, и лишь мгновение отделяло юношу от бегства.

– Сто-ой!!! – отчаянно закричал Лёнька. – Не беги! Вспомни, что говорила Настя!

Матвей повернул к Лёньке белое лицо. Быть может, он не расслышал слов, но человеческий голос удержал его на месте и прибавил сил. Вместе с Лёнькой он увидел, как озеро

поднялось, заслонив собой землю и небо, как ходили в нём мутные воды, ходили и не выплёскивались, и внезапно сделались чистыми, как стекло, а стекло это озарилось ярким светом...

– Настя! – воскликнул Матвей и бросился к дивному зеркалу, где вдруг появился облик его любимой. Настя протягивала руки и счастливо смеялась... Затем она вспорхнула как пушинка, отделилась от зеркала, и едва ноги её коснулись земли, как что-то ухнуло на весь лес, и Чёртово озеро устремилось обратно...

Ни Матвей, ни Настя не видели этого. Они зачарованно смотрели друг на друга, ещё не в силах вымолвить ни слова.

– Всё, – шепнул Лёнька своему вороному и тронул стремя, – мы здесь больше не нужны...

Но тут Настенька обернулась к нему и махнула рукой.

– Мальчик! – звонко крикнула она. – Спасибо тебе и низкий поклон! – и в самом деле поклонилась Лёньке до земли.

Она хотела сказать что-то ещё, но ни коня, ни всадника уже не было на берегу. Они мчались в обратный путь, и один вольный ветер мог угнаться за ними. Он и принёс прощальный Настенькин крик:

– Лёня! Лёнька-а!

Мальчик очнулся: полумрак чердака, деревянный конь под ним...

– Лёнька! – звал его бабушкин голос. – Да где же ты, внучек?

– Я кричу-кричу тебя, – обеспокоенно говорила она, когда Лёнька спустился вниз. – Ты не ушибся ли?

– Я там деревянного коня нашёл, – ответил Лёнька, опуская глаза.

– Коня? Ах, вон оно что... Понравился он тебе? То-то и отец твой в детстве его любил, так любил – ну, не отнимешь. Его дед Иван смастерил, когда Серёжа ещё карапузом бегал.

– Дед Иван, который с войны не вернулся?

– Да, Лёнюшка, пропал без вести. Мы с твоим папкой его долго после войны ждали... Думали, может, в плен попал, может, живой ещё, глядишь – и объявится. Не объявился, выходит – убили...

Бабушка помолчала и добавила:

– Так ничегошеньки и не знаем: ни как убили, ни где лежит...

Грустные мысли словно враз состарили бабушку Тоню. Что-то такое неуловимое вдруг пропало в её лице – то ли едва различимая улыбка, то ли ласковый согревающий свет, таящийся под густыми ресницами... Это «что-то» обыкновенно не замечалось, но стоило ему исчезнуть – и бабушкино лицо сразу померкло и сделалось печальным и далёким.

Лёньке стало совестно: зачем он спросил про погибшего деда? Как теперь вернуть бабушку из её горького прошлого?

– Ба, а ты домового видела? – выпалил Лёнька и сам удивился, как это у него сорвалось с языка.

– Домового? Ты про что это, внучек?..

– А тебе бабка Пелагея ничего не рассказывала? – Лёнька со значением посмотрел на бабушку.

– Да рассказывала, – усмехнулась та, и у мальчика отлегло от сердца. – У них с дедом вечная война, так ещё и домового приплели. Пелагея о нём ни сном, ни духом не ведала, со слов Акимыча и начала всю канитель. А Акимыч для забавы чего-чего не сочинит. Что же, всему и верить?

– Так ты не веришь в домовых? – озадаченно пробормотал Лёнька.

– Ну, не знаю... Когда я девчужкой была, мне мать рассказывала, что видела домового. Отец как раз на заработках был, она с нами одна. А душа всё о муже болит: как он там? Вот однажды ночью проснулась оттого, что кто-то душит её: навалился тяжёлый да лохматый, дух перевести не даёт. Всё, мамка решила, конец пришёл, отжила своё. Но как подумала про нас, так и взмолилась: пощади ты меня, не сироти детей! И слышит: отпускать её начал лохматый. А потом и вовсе сполз на ноги... Тут она его и сбросила, тут и заметила, как покатился по полу кто-то клубком. А наутро ей соседки растолковали, что то домовый приходил и нужно было спросить – к худу он или к добру? Тот ответил бы да и убрался восвояси. Но видать, к добру был мамкин домовый, потому что отец вскоре вернулся и хорошие деньги привёз. Мать того мохнатого часто потом вспоминала, а придумывать она была не охотница...

Ну а мы, дети, и подавно всё за чистую монету принимали.

Под вечер соберёмся на задах и давай друг дружку разными страхами пугать. Бывало, до того настраиваемся, что потом спать боязно, всё тебе ведьмы да черти в темноте кажутся. Однажды лежу я так, дрожу вся, как вдруг кто-то прыг на ноги! У меня от страха и сердце упало. А это кошка ко мне спать пришла, я её схватила – и под одеяло! Вот тебе и весь домовый!

– Как же ты раньше верила, а теперь не веришь? – не понимал Лёнька.

– Так ведь малый ребёнок в самую небывалую небывальщину поверит, главное, чтоб интересно было. Так и мне в детстве. Да ведь детство быстро проходит, а дальше всё по-другому...

Бабушка едва приметно вздохнула, словно пожалела, что перестала верить в домовых. «Может, попросить Хлопотушу, чтоб показался ей? – подумал Лёнька. – Он бы истории свои ей рассказывал, а она ему – свои...»

– Ба, – встрепенулся он, – а какими это страхами вы друг друга пугали?

– Вот ещё! Разве я помню? – отмахнулась та.

– Ну хоть что-нибудь, ну пожалуйста... – тянул Лёнька до тех пор, пока бабушка Тоня не сдалась.

– Ладно, слушай. Это не выдумка, Лёня, а взаправду случилось, и предание об этом долго потом ходило по округе.

Был когда-то в Песках мужик, хороший, работающий. Ему бы сто лет жить в радости, да счастье отчего-то всегда та-

ких сторонится. Женился он, души в жене не чаял, и она его крепко любила. Детишек не дал им Господь, и жили они вдвоём, как голубь с голубкой. Только недолго: не прошло и пяти лет после свадьбы, как слегла молодая да в одночасье и померла. Тут и затосковал мужик смертной тоской. И запил... Хозяйство забросил, ничего не делает, пьёт да слезы льёт. Его умные люди предупреждали, что грех так убиваться по покойнице, а он и слышать никого не хотел.

Пришёл как-то раз домой и снова взялся пить горькую. Дело было на Сретенье, в самую стужу. Пьёт он да Катю свою вспоминает, разговаривает с ней как с живой и зовёт, всё зовёт... И что же? Отворяется дверь, и входит в дом сама Катя, такая же, как была. А мужик до того охмелел уже, что и не удивился этому. Обрадовался очень, совсем голову потерял. Обнимает, целует дорогую гостью.

– Наконец-то, – плачет, – а я без тебя совсем извёлся!

– Знаю, – отвечает Катя, – потому за тобой и пришла.

Подымайся скорее да идём...

– Куда ж это? – спрашивает мужик. Знать, скумекал, что на ночь глядя идти им вроде как и некуда.

– Да ко мне, милый, и пойдём, здесь близко.

Мужик больше и думать ни о чём не стал. Схватил тулуп, руки в него суёт, попасть не может. А Катя торопит:

– Поспешай, родимый, а тулуп оставь, не надобно тебе его.

Мужик и тулуп, и шапку бросил. Вышел во двор: ах ты, господи, на улице-то лето, теплынь, и дух стоит, как в пору

сенокоса.

А Катя его сперва по тёмным улочкам вела, потом в поле вышла. А там слышит мужик: колокольчик сзади и конский топот всё ближе, ближе... Обернулся – тройка их догоняет, белая, как туман. Остановилась Катя:

– Ну вот, и идти нам не надо больше. Сейчас в карету сядем – и дома!

Мужик на подножку встал да и перекрестился, как это в старину по всякому случаю делали. Не успел руки опустить, как дико заржали кони и точно кто спихнул его на землю. Сразу пропало всё: ни коней, ни кареты, ни жены как не бывало. Кругом вьюга, снег в лицо, ни зги не видать.

С трудом разглядел мужик какие-то ворота, а что за ними – не поймёт. Вот когда холодом до костей пробрало, стал он соображать веселее и разобрал, что стоит перед кладбищем. Это ночью-то, зимой, и до Песков вёрст пять будет!

Пустился бедолага домой, да мыслимо ли раздетому в такую даль добежать? Повернул мужик и к Харину кинулся, кладбище-то возле Харина было. Сколько бежал, столько крестился. А в Харине к знакомому достучался, тем и спасся. Тот ещё не сразу и пустил – время за полночь, а беглец из Песков, раздетый, страшный...

Видишь, Лёня, как оно бывает. Недаром остерегали мужика добрые люди, чтоб не казнился этак... Ой, – вспомнила бабушка Тоня. – Тебе обедать давно пора, а я тебя всё сказками кормлю!

– Ба, я ведь недавно завтракал, – возразил мальчик, но бабушка покачала головой:

– Да ты на чердаке три часа просидел. Так заигрался, что и времени не заметил?

Отобедав вместе с Лёнкой, бабушка засобиралась во двор:

– Поди, скотинка наша тоже проголодалась. Пойдёшь со мной, Лёня?

Лёнька хотел пойти, но такая усталость вдруг одолела его, что не было сил подняться с места. Мальчик опустил голову на руки, закрыл глаза, и немая, холодная темнота обступила его...

...Он шёл по пустому, безжизненному полю, а на горизонте чернел неприступный лес. Сердце у Лёньки сжималось от тоски и страха, но за лесом, далеко в небе, разгорался удивительно яркий, зовущий свет. Это не был свет зари, и, торопясь навстречу золотому сиянию, Лёнька знал, что там его ждёт невыразимое, неземное счастье. Он не думал о том, как пройти этот долгий, мучительный, полный опасностей путь. Он просто шёл, понимая, что эта дорога – единственная для него и пройти её нужно во что бы то ни стало. С каждой минутой небесный пламень полыхал всё ярче, а идти Лёньке становилось труднее и труднее...

С ДЕДОМ

– Ты чего это за столом спишь? – раздался рядом бодрый, звонкий голос, пробуждая Лёньку от его видений.

Дед Фёдор выкладывал перед мальчиком «провизию» – хлеб, спички, кульки с крупой... Послеобеденное солнце щедро позолотило его рубашку, руки и лицо, и казалось, что старик весь пронизан заветным светом Лёнькиного сна.

– Акимыч... – прошептал Лёнька и, не давая деду опомниться, повис у него на шее.

Дед Фёдор бросил свои покупки.

– Ну-ну, – бормотал он, неумело обнимая Лёньку, – я к тебе во как спешил!.. Да вишь ты, к куму надо заглянуть и купить всего, у меня тут целый список от хозяйки...

– А, благодетель наш прибыл! – появилась в дверях бабушка. – Тут Лёнька о тебе всё утро вздыхал, не чаял дожидаться. Вот нету деда у него...

– Как это нету? – искренне удивился мальчик. – А Акимыч?

После этих слов дед Фёдор окончательно ступешевался.

– Ах ты, память дырявая! – вдруг выбранил он себя. – Я ж тебе, Лёнька, гостинца привёз!

Порывшись в большой дорожной сумке, Акимыч вытащил стеклянную банку и как фокусник сдёрнул с неё плато-

чек.

– На припёке насобираю, когда обратно ехал. Это, Лёнь, первая лесная ягода.

Томясь от собственного аромата, в банке краснела дикарка-земляника.

– Ты вот что, – посоветовал Лёньке дед, – ты загадай сперва какое-нибудь желание.

– Зачем?

– А затем! Если первый раз в году чего-нибудь пробуешь и желание загадал, то оно и сбудется.

«Хочу, чтобы Акимыч меня больше не оставлял», – не раздумывая, загадал Лёнька и лукаво взглянул на деда:

– Теперь можно?

– Теперь действуй, – позволил Акимыч и опять нырнул в свою сумку.

– Ивановна, тебе тоже подарок полагается.

– Уж не баромитор ли? – прищурилась бабушка.

– Нет, Тоня, – простодушно ответил Акимыч, – привёз я тебе кой-чего понужнее. У тебя свёкла-то варёная найдётся?

– Нету. Картошка варёная есть, морковь...

– Гм-м, – озадачился Акимыч, – мне вообще-то на свёкле показывали... Ну, ладно, подавай свою морковь, поглядим.

Нужная вещь походила не то на нож, не то на штопор. Ею дед Фёдор решительно вбурился в морковь, и та лентой зазмеилась из-под его рук, а лента сама свернулась на столе в оранжевые розочки.

– Видали?! – радостно воскликнул Акимыч, а Лёнька даже перестал есть землянику.

– Вот это да!

Бабушка Тоня как следует осмотрела дедово искусство и тоже осталась довольна.

– А Пелагее-то купил? – поинтересовалась она.

Акимыч положил розочку себе на ладонь:

– Не... Моя старуха не поймёт. Ей надо, чтоб большой кусок рот радовал. Красотой её не накормишь. Зато ты, Ивановна, будешь как в ресторане готовить.

– Да кому мне готовить-то? Вот разве ему пока, – бабушка посмотрела на Лёньку с лёгкой, не понятной мальчику грустинкой. – А сам-то ты, Федя, не проголодался с дороги? Садись-ка вот, чайку сообразим. А что кум твой? Здоров ли?

Акимыч крякнул неопределённо:

– Нельзя сказать, чтоб хворал, а из дому три дня уже не выходит.

– Это как же? – изумилась бабушка.

– А сраму боится, – ответил дед, отводя глаза в сторону.

– Ой, лихо! – испугалась бабушка. – Да что стряслось-то?

Акимыч понял, что про кума придётся рассказывать всё без утайки.

– Ну так чего, – начал он, – зашёл в субботу сосед к куму моему с утречка. Кума в магазине была, они и решили пока медовухой побаловаться. Сидят себе, калякают, то да сё... Сосед и жалуется куму, мол, старые мы уже стали, того

и гляди помрём, никто и не вспомнит про нас, и не пожалеет. А кум ему отвечает: да откудава тебе знать, что об нас после смерти скажут? А может, коли я помру, так светопреставление начнётся, всё Раменье в голос завоет? Хе, говорит сосед, чего ж ему выть по тебе, какой ты такой герой-чапаявец? Помер, скажут, Степан, толку от него, правда, не было никакого, ну да уж пускай себе лежит. Ах так, озлился кум, а ну давай проверим, чего они скажут, подымайся! Сосед струхнул да на попятную: брось, просит, Степан, ты что это надумал? А кум уже из-за стола вылез: идём, кричит, да не бойсь, я себя не порешу, я по-умному сделаю...

Кума вернулась, глядит – и медовуха в ковше недопитая, и нет никого. Плюнула да пошла огород полоть.

А кум приводит соседа на речку. Вот, говорит, смотри, чтоб не брехал после, что не видел. Разделся до самых подштанников, одёжку на берегу положил, а сам с соседом – в кусты. Тут вскорости приходят две молодухи, глядь – такое дело. Чья же это одёжа, одна спрашивает. А вторая отвечает: да Степана Хорохонова, разве не видишь, куда это он подевался? Стоят, головами вертят, вот до одной дошло. Дядя Степан, кричит, дядя Степан, ты живой ли? А кум в кустах сидит и жалобно так себе под нос выводит: «Утоп я, красавица, нету больше вашего дяди Степана...»

Видят бабы, кричи не кричи – не сможешь, подхватили подола да в деревню. «Ну, – говорит кум, – началось. Эх, зря медовухи с собой не прихватили, а то б выпили за

упокоей грешной моей души». А соседу и не до медовухи уже. Слышь, шепчет, Степан, покуда нет никого, одевай свои портки да бежим отсюда, а я тебе и так теперь верю. «Э нет, брат, врѣшь, – смеется кум, – мне теперича самому интересно, чем оно обернѣтся. А если у тебя душа в пятки ушла, то и дуй себе куда хочешь». Но тут слышат – крики, визг, молодухи вернулись и с ними несколько мужиков, к заводи с бреднем шли. Разделись мужики, стали в воду нырять. Ныряли, ныряли, потом у берега бреднем водить начали, ну и чѣрта с два вытянули, конечно. Унесло его, видать, говорят. Вы бы, бабы, в деревню бежали, позвали народ, да и старухе его надо сообщить.

Те и посвистели. Покуда добежали до кумова дома, всё Раменье на ноги подняли, там почитай уже двадцать лет никто утопленника не видел. Нашли куму в огороде, а как сказать – не знают. Потом одна осмелилась:

– Баба Дуся, там возле речки вашего деда рубашка с картузом лежат. И штаны...

– Чего штаны? – кума не поймѣт. – А где козѣл-то мой?

– Дык, утонул...

– Чего-о? – у кумы и глаза на лоб полезли. Наконец смекнула кой-что.

– Утонул, стало быть? Ну, пойдѣм поглядим. Только сперва дай прихвачу крапивки.

Подошла к забору и ну крапиву ломать. Молодухи чуть не упали:

– Тронулась баба Дуся!

Евдокия целый веник наломала и – к речке. А там уже всё село. Мужики ныряют, бабы орут, детей от воды гонят. Ну, натурально светопреставление. Увидели куму – замолкли сразу все, стоят-переминаются. А Евдокия крапивным веником помахивает да осматривается:

– Где ж искать утопленника?

И пошла к кустам, где кум с соседом залегли. Тут Степан как выскочит из кустов да как кинется в деревню, а сосед его – как стрельнёт в другую сторону! Никто сперва и не понял ничего, одна кума не растерялась и напрямик за дедом своим. «Ах ты, – кричит, – утопленник вшивый, ах ты пугало раменское! Я вот тя оживлю крапивкой!» Тут и народ в себя пришёл и тоже за ними. Спереди, значит, Степан несётся в одних подштанниках, следом бабка Евдокия с оружием своим и позади уже всё село: кто ругается, кто хохочет. Картина!..

Кум до дому-то добежал, прыгнул как заяц в дом и до сей поры носа из него не кажет. Умру здесь, божится, а насмешек над собой не вынесу. Попутал меня нечистый на старости лет, на весь белый свет опозорил. Брось ты, говорю, Степан, маяться, все уже, чай, забыли, только им и делов – помнить, как ты без штанов по селу просверкал. Ой, стонет, не напоминай ты мне про те штаны, никто не забыл и никогда не забудет. Буду на этой печке лежать, пока не помру!

– Даст бог, выживет! – еле сумела сквозь смех прогово-

рить бабушка.

Смеялась она долго и от души... Акимыч её веселья не разделял, наверное, жалел своего кума. Он то ставил на стол чайную чашку, то вновь брал её и с неловкой улыбкой вертел в руках. Потом отыскал взглядом свою кепку и сказал бабушке:

– Пойду я, Тонь, а то Пелагея, чай, давно велосипед мой заприметила. Скажет опять, что даром языком мелю...

Дед стал собираться, слез со стула и Лёнька.

– Я с Акимычем! – решительно заявил он.

– Пойдём, пойдём, – дед Фёдор похлопал парнишку по плечу. – Ты у нас в гостях ещё не был, посмотришь, как я со своей старухой существую.

...Дом у деда Фёдора оказался побольше бабушкиного. И окошки, заметил Лёнька, были высоко от земли и широко открывались солнцу. Кроме того, избу Акимыча украшали резные узоры, а крыша увенчивалась расписным петухом, который сидел вытянув шею и взмахнув крыльями, точно собирался взлететь.

– Красивый дом, – не удержался Лёнька, и Акимыч по-настоящему заволновался от этой похвалы.

– Всё своими руками, Лёня, всё своими. Душу вкладывал в каждую досочку, оттого и красиво... И добротное, само собой. Он у меня считай три десятка лет стоит, а ты погляди – будто вчера соструганный. Я как с войны пришёл, сразу и замыслил этот дом, необычный дом, Лёнька. В наших краях

избы-то все из брёвен рубят, а тут брёвна только в нижнем венце, что на фундаменте лежит. Всё остальное из досок и опилок. Это меня на фронте научили сибиряки: два слоя досок, а между ними опилки засыпаются. Их, правда, лет пять потом приходилось с чердака подсыпать. Зато дом получился монолитный и теплый. Сколько дров я на нём сэкономил! Твоя бабушка, к примеру, за зиму кубометров шесть сжигает, а я тремя обхожусь. И тепло в доме – хоть двери отворяй...

– Петушка тоже сам сделал? – показал Лёнька на конёк крыши.

– И петушка, и наличники, вон погляди, и всю эту резьбу. Да я, Лёня, и в избу всё сам смастерил: придумал и сделал...

– Явился-таки, не запылится, – раздался неожиданно зычный голос бабки Пелагеи. Она стояла на крыльце и поджидала деда с Лёнькой, по-хозяйски скрестив руки на груди. – Чего так рано? Кум, что ли, заболел?

– Да вот, к Лёньке торопился, – ответил Акимыч.

Бабка Пелагея пригласила мальчика в избу:

– Заходи, Леонид, попотчuem и мы тебя. Не одной твоей бабушке такая радость, позволь и нам хлеб-соль показать.

Внутри дом Акимыча выглядел ещё занятнее, чем снаружи. В нём, словно в большой старинной шкатулке, таилось множество чудес, но чудес деревянных. Это была резная и точёная мебель, сработанная руками деда Фёдора.

Лёнька медленно ходил от стула к дивану, от дивана к эта-

жерке, а оттуда – к комоду и буфету, подолгу разглядывая каждое такое чудо. Вот лев, вырезанный на подлокотнике кресла, мирно дремлет под тиканье настенных часов. А жарптица на буфете будто бы на минуту присела отдохнуть, а хлопни неосторожно дверцей – встрепенётся и улетит...

Даже табурет у Акимыча – и тот был не простой. По ножкам его бежал цветочный орнамент, а в сиденье виднелось отверстие для руки – чтобы поудобнее брать табурет. Лёнька это приспособление сразу испробовал.

– Что, лёгкий? – спросил наблюдавший за ним Акимыч. – И прочный, заметь. А ему ведь уже лет семьдесят, никак не меньше. От отца память осталась. Он у меня тоже и плотник был, и столяр – редкий был мастер. Я до него так и не дотянулся, хоть у него и учился всему. И при этом знаешь, как моего отца в деревне звали? Аким-простофиля да Акимувалень. Он мог последнюю рубашку с себя снять и прохожему отдать. Мог в лепёшку расшибиться и соседскую избу так расписать, что после сам диву давался. Зато в своём доме точно гость был. Для себя ничего почти не делал, разве что мать силом заставит. Кажись, и этот табурет так получился. А жалко, ей-богу, – Акимыч погладил старый отцов подарок.

– Я, Лёнь, почему говорю, что далеко мне до бати-то? Учиться у него я рано начал, с восьми лет. С четырнадцати уже в артели топором махал и всё мечтал стать хорошим мастером. А к двадцати годам был я настоящим плотником и столяром. Прислушивались ко мне, на ответственные ра-

боты приглашали, что правда, то правда. Даже и отец мною гордился. Трезвый, бывало, промолчит, а как выпьет, так и начнёт хвалиться: вот, мол, какой мастер из сына получил-ся... Я ведь, Лёня, один у него был. Родилось ещё до меня двое ребяток, да в детстве и померли.

Слушал я отца, хоть оно и неловко вроде, и радовался. Думал, что догнал, а в чём-то и превзошёл родителя. Дурак был, одно слово. Когда ещё понял, что отец мне не чета. Я-то как всегда работал? Прежде чем за топор взяться, я в уме всё семь раз отмерю и построю. Ночами не сплю, кумекаю, как мне то-то и то-то сделать. Пока до последнего гвоздя всё не придумаю – и начинать не стану. А батя инструмент брал и сходу начинал. Легко, не задумываясь работал, по наитию. И выходила у него всегда – сказка!

– Дедушка, а что за артель? – спросил Лёнька.

– А-а, это в двадцатые годы было. Крестьянину в то время туго приходилось. Случалось, что на выращенный хлебушек и не проживёшь. Тогда, чтобы семью прокормить, сбивались такие мастера, как отец, в плотницкие артели, или бригады. И шли, как говорится, по свету, предлагали своё умение людям. В летнюю пору строили дома, амбары, ремонтировали кому чего. За любой подряд брались, лишь бы платили хорошо.

Я когда подрос, поднаторел в плотницком деле, отец и меня с собой начал брать. Первые два года я, как водится, на побегушках был, зато к шестнадцати вровень с артельщика-

ми встал, а через несколько лет уже опыта набрался, мужики меня зауважали. Вот слушай, с чего это пошло.

Строили мы богатый дом в Перово, и я уже не меньше прочих вкалывал, а всё в подмастерьях числился. Однажды замечаю, что Федот Пантелеич, наш старшой, рубит, понимаешь, венец не так. Вернее, рубит как обычно, а я чувствую, что здесь по-другому нужно. Иначе сдвиг получится, перекосятся сруб. Меня аж в жар бросило от моей догадки. Что делать? Надо бы подсказать, да, с другой стороны, как подступиться – ведь это ж мастера учить берёшься! Битый час мучился, а потом собрался с духом и выложил всё. Мужики, знамо дело, на смех подняли. А положили венец – вот он, перекося, и получился. Пантелеич выругался, но не смирился, стал по-своему переделывать. Бился-бился – ничего не выходит. Уже другие артельщики помогают – и всё без толку.

Тут и позвали меня: давай, грамотей, показывай, как надо. Сами стоят, перемигиваются... А я срубил венец, как думал, он и лёг тютельница в тютельница. После этого Пантелеич и сказал моему отцу: берём, Аким, твоего сына в артель, вырос он из подмастерьев. С тех пор зарабатывал я деньги наравне со всеми.

Видишь, Лёня, как раньше люди ремеслу учились. Никто ни с кем не цацкался. Хочешь стать мастером – гляди на старших, учись у них, никаким трудом не гнушайся. Это тебе не нынешняя система – проучился два года, хорошо ли, плохо, научился чему или нет – тебе всё одно разряд. А в

артели ты за одни харчи на побегушках мог несколько сезонов пробегать...

– Самовар поспел, – заглянула в комнату бабка Пелагея.

Из кухни, где они чаёвничали, одно окно выходило в сад, и там Лёньке открылось такое, что он сразу позабыл про пирог и сладкие ватрушки. Прямо в саду у Акимыча в пологих бережках лежал настоящий пруд, и маленький ладный домик нависал над ним.

– Что это?

– Где? – спросила бабка Пелагея. – Куры, что ль, в огород зашли?

– Там домик над водой...

– Э-э, – разочаровалась Пелагея Кузьминична, а дед наоборот оживился.

– Дачка моя, – с удовольствием ответил он, обернувшись к окну. – В принципе дачкой я её так, для себя окрестил, а вообще мастерская у меня там. Вот попьём чай...

– А я уже! – Лёнька поспешно отодвинул в сторону недопитый чай. – Спасибо!

Бабка Пелагея посмотрела на него осуждающе:

– Поди, не убежит никуда ваша дача! Поел бы по-людски...

Но Лёнька уже тянул Акимыча за рукав. Пелагея Кузьминична осталась в кухне одна.

Подойдя к пруду, мальчик увидел, что воды в нём немного и чудесный домик висит над пустотой.

– Лето нынче сухое – обмелел пруд, – объяснил Акимыч. – А так он что надо. В нём даже карась водится. Не веришь? Карась – рыба неприхотливая, в ил забьётся – ему и вовсе воды не надо. А тут дно илистое.

– А почему у вас в саду пруд? У бабушки нету.

– Да это я сам вырыл, ещё до войны, чтобы огороду и саду помочь. Пруд в сырое лето лишнюю воду забирает, а в сухое, как нынешний год, подпавивает землю. Жаль, сейчас на исходе его силы. А бог даст, принесёт в Пески дождичек, тогда и пруд оживёт, и карасю будет приволье.

– Дедушка, а дом над прудом для красоты?

– Для красоты? – не сразу уловил Акимыч. – А ведь ты, Лёня, первый так сказал. Обычно как судят: непрактично, хлопотно было строить, быстро сгниёт... Но ты правильно заметил: получилось как на картине. А летом по вечерам ещё и музыка у меня тут. Я порой заработаюсь допоздна, домой идти – только бабку тревожить. И остаюсь до утра на дачке. Слушаю лягушачьи концерты.

– У нас их тоже слышно, но тихо, – вспомнил Лёнька.

– Это совсем другое, – убеждённо сказал Акимыч. – Я когда здесь слушаю, прямо в серёдке ихнего хора сижу, как на концерте в зале. А издали слушать – всё одно что по радио. Приходи сегодня вечером, сам услышишь.

– Сегодня не могу, – Лёнька вспомнил про посиделки домовых и ощутил радостное волнение.

...Они зашли в мастерскую, маленькую и в самом деле,

как дачка. Окна в ней были закрыты ставнями, и Лёнька, распахнув створки, выглянул наружу. С высоты пруд, обрамлённый с одной стороны деревьями, а с другой изгородью, казался глубже и значительней.

Дед Фёдор подошёл к окну.

– По правде говоря, дачка над прудом с Пелагеиной руки появилась. Я когда строить её решил, земли свободной уже не было. Пелагея ультиматум поставила: строй где хошь, хоть над прудом. Ну и не стал я с ней за грядки воевать. Подумал-покумекал и взялся над прудом строить. А что, нравится моя столярня?

– Угу... А окна от воров закрыты?

Акимыч хмыкнул:

– В наших краях какие вору! Тут и собак-то никто не держит. Нет, это я своим друзьям отдыхать даю. Ну чего опять удивляешься, вон их сколько, – Акимыч кивнул на стены, где стояли и висели его рабочие инструменты: рубанки, фуганки, ножовки, стамески... «Зачем так много? – подумал Лёнька, оглядывая армию дедовых помощников. – И одинаковых полно...»

Дед Фёдор угадал мысли мальчика.

– Чтобы столярничать, Лёня, много чего надо. А для тонкой работы и подавно требуется хороший инструмент. Мне какой по наследству достался, какой сам покупал. Потом вижу: не то, другой нужен. А где его взять? Начал я тогда сам делать и собрал целую коллекцию. Смотри, – Акимыч снял

со стены самый неказистый инструмент, – этим рубанком мой отец строгал. Он у меня уже давно на заслуженном отдыхе. Так изредка пройдусь по досочке, чтобы порадовать старичка. А этот топор и вовсе от деда, но до сих пор верой и правдой служит. Теперешние топоры иной раз от крепкого сучка тупятся, а мой ветеран гвозди рубит – и ни одной зазубринки, – Акимыч любовно погладил потемневшее топориче. – Он ведь понимает, Лёня, что мы с тобой о нём говорим. И чувствует всё, прямо как человек. Попробуй-ка поругай его зазря, а то ещё хуже – швырни в грязь по нерадивости. Разобидится так, что потом всё бревно тебе испортит. Или поранит даже. Эта повадка каждому ремесленнику известна...

Прочие вещи, если обратишь внимание, так же себя ведут. К примеру, один человек ботинки годами носит, а на другом они за неделю сгорают. Первый-то их любит, бережёт, а другой таскает так, без внимания, без благодарности. От этого и умирает обувь раньше срока.

Вот видишь табурет? С ним тоже была история, в ту пору ещё, как началось бегство из Песков. Иду я под вечер, уже смеркается, и вдруг слышу: кто-то плачет тоненько да горько. Как будто дитя заблудилось в кустах. Я подошёл, кусты раздвинул, а там этот табурет. Ножка у него одна сломана, и сам недюжий уже. По мирским меркам, конечно, одна ему дорога – в печку. Видать, уезжали из Песков, а его брать не захотели, было от чего плакать...

Взял я его с собой, принёс сюда, разглядел получше. Эх, думаю, бедняга, ну-ка попробую тебе помочь. И до полуночи я, Лёнь, его ремонтировал. Зато какой друг сердечный с тех пор у меня появился! Теперь как устану или спина разболится, просто сажусь на этот табурет. И всё, и любую боль как рукой снимает. Вот какой у меня доктор! Ну-ка посиди на нём маленько, а я тебе кой-чего покажу.

Акимыч достал из-за маленькой печурки обтёсанное полено и, подойдя к токарному станку, закрепил на нём заготовку. Он подкрутил, подвинтил что-то, загородил полено железной планкой и снял со стены несколько стамесок. Потом снова приступил к станку, и тот, ухнув, стал набирать обороты. Чем быстрее нажимал Акимыч ногой на планку-педаль, тем стремительней крутилось полено, превратившись наконец в гудящий волчок.

Дед Фёдор выбрал одну из стамесок, приложил её к железной планке, и с полена полилась на пол янтарная стружка.

Лёнька соскользнул с табурета и подошёл ближе, а волчок после нескольких проходов по нему стамеской сделался круглым и ровным. Уже казалось, что он не крутится, а неподвижно висит в воздухе, хотя весь механизм скрипел и работал, а самое большое колесо вертелось быстро, как пропеллер.

– Грубую обработку прошли, – сказал Акимыч то ли себе, то ли Лёньке. – Теперь возьмём другую стамесочку.

Она врезалась в деревянный волчок, и тот постепенно

стал обретать фигурную форму. Трудно было отвести взгляд от этого превращения, и Лёнька смотрел и смотрел, а под ноги ему стелился пахнувший смолой светло-жёлтый серпантин.

Закончив последнюю операцию, Акимыч освободил из станка то, что ещё недавно было простой деревяшкой, и обтёр его стружкой.

– Что это? – спросил мальчик, рассматривая новоявленную фигуру.

– Это для будущей этажерки деталь, – дед открыл какой-то ящик, и Лёнька увидел в нём уже немало таких же точёных фигур. – Племяннику своему из Харина подарок готовлю, ему на днях пятьдесят стукнет...

...Солнце стояло ещё высоко в небе, но природа уж переводила дыхание от послеобеденной жары, и деревья мягко шумели, отгоняя тяжёлую дремоту. Лёнька не ушёл бы от деда Фёдора дотемна, но появилась бабушка и увела «хлопотного гостя» домой. Мальчик не обиделся и не расстроился, он был в том состоянии духа, для которого не существует ничего плохого в целом мире. Лёнька уже хорошо знал эти внезапные приливы счастья, глубокого и беспричинного. «Здесь, в деревне, каждый день не похож на другие, – думал он. – И всё время интересно. А если тут жить всегда, то проживёшь много-много удивительных дней...»

ПОСИДЕЛКИ ДОМОВЫХ

На посиделки Лёнька с Хлопотушей отправились уже за полночь, когда Пески погрузились в короткий летний сон. Темнота не укрыла деревню полностью, и, продвигаясь вперёд, Лёнька ясно различал по сторонам контуры домов и похожие на призраки груды развалин. Тяжёлые ночные бабочки проносились мимо с жужжанием веретена и исчезали в лиловой мгле, а небо то и дело пересекали трепещущие тени летучих мышей.

Лёнька торопился за Хлопотуном, ни о чём не спрашивая и не пытаясь заговорить, словно безмолвная ночь наложила запрет на все слова и расспросы. Хлопотун сам прервал тишину, когда они свернули с улицы и очутились в дебрях заброшенного сада. К Лёньке сразу потянулись шелестящие лапы разбуженных деревьев, а ноги его запутались в силках высокой травы.

– Ты чего там завяз? – поторопил Хлопотун. – Держись меня, тут тропка есть.

Узкая тропинка смело повела их через буйные заросли, и сотни запахов хлынули на Лёньку дурманящей волной. Медовый аромат липы струился с высоких крон, а от земли навстречу ему поднимался густой мятный дух. Чёрная смородина выдавала себя благоуханием резных листьев, в которых

пестовала она терпкие целебные ягоды. И где-то совсем рядом в тёплом воздухе то появлялось, то исчезало слабое дыхание ночной фиалки.

Дом для посиделок оказался целым и крепким на вид мальшом. Одна-единственная ступенька вела на низкое крыльцо. Дверь в избу была ему подстать: только мальчику и домовому впору пройти не нагнувшись. Вслед за Хлопотунном Лёнька перешагнул порог, миновал тесные сени и остановился в крошечной тьме.

– Долгой ночи, добрых дел, – сказал Хлопотун в эту темноту.

– Долгой ночи, – глухо ответил чей-то невидимый голос, – это и есть твой Лёнька? Сколько помню, люди к нам на посиделки не заглядывали.

– Толмач, – тихо промолвил Хлопотун, – то, что должно случиться, рано или поздно случается. Этот человек пришёл к нам не зря. А если ты сомневаешься в мальчике, испытай его сам.

Наступило молчание. Тот, кого звали Толмачом, видимо, задумался.

– Ну, будь по-твоему, – произнёс он наконец. – Может, ты и прав, Хлопотун. А ты, мальчик, вспомни сначала что-нибудь очень хорошее, а потом очень плохое.

Не успел Лёнька сосредоточиться, как в его сознании вспыхнул яркий свет и появился Акимыч со своей по-детски наивной улыбкой. Лёньку опять охватила горячая волна

радости, и захотелось, как давеча, броситься на шею к деду. Но свет неожиданно померк, и вместо Акимыча Лёнька увидел бабушку. Она сидела, уронив руки на колени, устремив невидящий взгляд куда-то мимо мальчика, и тот понимал, что её печаль о погибшем муже не развеется никогда...

– Бабушка, – дрожащим голосом сказал он, – бабушка, не плачь, я так тебя люблю!..

– Успокойся, Лёня, – проговорил Толмач, возвращая мальчика в настоящее, – проходи и садись, доброму сердцу все двери открыты.

В этот миг темнота вокруг Лёньки сделалась прозрачной, и он увидел горницу и собравшуюся в ней компанию из пятерых домовых. Среди них Лёнька без труда угадал Толмача. Тот казался старше других, и его длинная шерсть серебрилась сединой.

Толмач сидел, облокотившись о деревянный стол, и смотрел на Лёньку умным спокойным взглядом. Хлопотун подтолкнул мальчика, и Лёнька присел на краешек длинной лавки рядом с домовым в пушистой, похожей на кроличью шерстке. Пушистый не медля повернулся к нему и весёлым голосом спросил:

– А ты привёз из города игрушки?

– Нет... – растерялся Лёнька.

– Эх, жалко, вот бы посмотреть!..

– Да, напрасно ты, Лёнька, игрушек сюда не навёз, – подхватил домовый, сидящий у окна, – а то в нашем магазине

одни платочки для гражданочек.

Домовой рядом с Лёнкой аж подскочил, хотел что-то ответить, но не нашёлся и только нахохлился.

– Ты Панамка? – догадался Лёнка. – Ты в магазине живёшь?

– В магазине, – нехотя буркнул домовёнок.

– А где твоя фуражка?

– Дома осталась...

– Вот, Лёнка, тебе и товарищ, – сказал Хлопотун, – а это у нас Кадило, – и указал на сидящего возле окна.

– Да-а, кадим понемногу, – отозвался тот, – но больше для собственного удовольствия, чем для пользы дела.

Лёнка ничего не понял, тем более, что никто не обратил внимания на реплику Кадила, а Хлопотун уже представлял следующего:

– А это наш многоуважаемый Пила.

– Меня зовут Запечный, – сердито возразил домовой.

– Звали тебя когда-то Запечным, – поправил Хлопотун, – но с того времени, как испортился твой характер, стал ты настоящей пилой.

– Да ещё и ржавой, – в тон Хлопотуну добавил Кадило.

– Ты же ещё и подзуживаешь? – взвился Пила. – Думаешь, не знаю, кто мне эту глупую кличку дал? А я всё равно Запечный.

– Да какой же ты Запечный, если у тебя печки нету? – невозмутимо спросил Кадило. – Живёшь ты в старом курят-

нике, и правильнее всего звать тебя Насестным.

– Посмотрим, где ты будешь жить, когда твоя бабка по-мрёт, – огрызнулся Пила, – может, ещё в нужник судьба загонит. Как мы тебя тогда звать будем?

– Да, – сокрушённо вздохнул Кадило, – с моим именем в нужнике жить нельзя. Придётся взять псевдоним – Запечный.

Пила вскочил в ярости, но его слова заглушил всеобщий смех.

– Ну, будет вам, – вмешался Толмач, когда веселье немного утихло, – кончай свой балаган, Кадило.

Кадило принял отрешённый вид, а Пила с глухим ворчанием опустил на лавку.

Лёнька обратил внимание на последнего домового, с которым Хлопотун не успел его познакомить. Этот последний не обронил ещё ни слова и вообще держался как бы особняком. Было похоже, что он думает о своём или о чём-то грустит. Хлопотун заметил Лёнькин интерес и подсказал ему:

– А это, Лёнька, твоего деда Акимыча бывший доброжил.

– Выжитень!.. – вырвалось у Лёньки.

Домовой и тут ничего не сказал, видимо, не желая вступать в разговоры. А может, ему тоже не нравилось теперешнее имя.

Доможил деда Фёдора был заметно выше прочих взрослых домовых, но сильно сутулился. Его шерсть не вилась, как у Хлопотуна, и не блестела, как нежная шубка Панам-

ки, а висела длинными спутанными прядями. Лёнька представил, как зимней ночью Выжитень сидит в своём сарае и мечтает о тёплой избе деда Акимыча. В этот момент Панамка дёрнул мальчика за рукав:

– А ты в школу ходишь?

– Хожу, – ответил Лёнька.

– А зачем?

– Учусь там читать и писать...

– Зачем тебе писать? – не отставал домовёнок.

– Ну, например, я напишу тебе из города письмо, а ты его получишь и прочитаешь, как я живу.

Панамка хихикнул и отчего-то зашептал Лёньке в самое ухо:

– Если ты в городе обо мне подумаешь, я и без письма о тебе всё-всё узнаю в одну секунду!

– В городе вашем одна бестолока и суета, – вдруг ни с того ни с сего заявил мрачный Пила. – Живёте там друг у друга на головах и ужиться не можете.

– Неправда! – вспыхнул Лёнька. – Мы хорошо живём!

– Да какой там хорошо, если сосед соседа всю жизнь изводит, – упрямылся Пила. – Домовому в вашем городе никогда не прижиться. Слыхали вы, что Куличик позавчера в Харино вернулся?

– Вернулся всё-таки? – задумчиво переспросил Толмач.

– И полгода не выдержал! Уж лучше, говорит, где-нибудь в сарае бедовать, чем в ихней чокнутой квартире.

– Чем же ему квартира не угодила? – поинтересовался Толмач.

– А тем, что испортила хозяев его! – и Пила отчего-то недобро посмотрел на Лёньку. – Попругиных-то в Харине все уважали – и Василия, и жену. А какой дом был – целый век ещё простоит! Куличик говорит, чуть не тронулся с горя, когда уезжал. А Попругин дом продал, да ещё и приговаривал, довольно, мол, нам в глуши пропадать, хочется пожить по-человечески, мне на заводе квартиру с удобствами пообещали.

– С какими удобствами? – перебил Панамка.

– А это когда нужник не в огороде стоит, а прямо в доме, возле кухни, – услужливо подсказал Кадило.

– Да ну?!

– Можешь не сомневаться. А печка, наоборот, за версту от дома выставлена, так что и не видать, кто её топит.

– Врёшь ты всё, – обиделся Панамка.

– Лёня, я правду сказал? – строго спросил Кадило.

Лёнька, смутившись, не знал, что ответить, но тут Пила продолжил свой рассказ:

– Прикатали Попругины в город, а им и говорят: отдельных квартир нету пока, поживите в общей.

– Это как же? – опять влез Панамка.

– А так, – поспешил ответить Пила, – что в одной квартире разом несколько семей живёт, и у каждой семьи только одна спальня своя, а остальное всё общее.

– Это зачем же так жить? – возмущился Панамка.

– Ну, сказано тебе, отдельных квартир не осталось! – терял терпение Пила.

– Так зачем было общие делать?! – в отчаянье крикнул домовёнок.

– Ты, колун бестолковый, – прошипел Пила, – я тебе сейчас объясню...

– Уймись ты в самом деле, – урезонил Панамку Хлопотун, – слова никому сказать не даёшь. Давай дальше, Пила.

– Ну, дальше поселились Попругины в этой квартире, и Куличик с ними. Такая, говорит, теснота была, как в поддувале. А главная беда, что невзлюбили Попругиных соседи и начали выживать потихоньку. В глаза ничего не говорят, а за спиной пакости делают. Жена Василия отвернётся в кухне, а соседка ей в кастрюлю плюх таракана и потом причитает: «Вот развелось проклятых, уже сами в суп прыгают!» Или попругинское бельё грязью вымажет и охает: «Ой, гляди, милая, простыни-то твои не отстирались!» Ну и жизнь, думает Куличик, тут надо держать ухо востро. И стал следить за соседями. Увидит, что те Попругиным напакостили, и всё обратно переделывает. Крутится день и ночь, только этим и занимается, а всё одно не успевает. Вот, говорит, в Харине я и дома, и в огороде, и на пасеке управлялся, а здесь за двумя вредителями не услежу.

А однажды ночью слышит Куличик, как Василию жена жалуется:

– До чего эта Анфиса Семёновна надоела! Переколочу ей завтра банки с вареньем и скажу, что кот в кладовку залез.

А Василий отвечает:

– Ну и правильно. Сколько ж нам терпеть? Я тоже завтра проводку так обрежу, как будто сама прогнила. Пускай по-сидят без света.

Ну, дела, думает Куличик, неужто и мои за диверсии примутся? Ну уж нет, варенье разбить не дам, пускай вы и мои хозяйева. Взял и перепрятал соседское варенье. Так Любка Попругина со злости раскокала пустые банки и на кота свалила. И пошло-поехало. Такая в доме завелась карусель, что Куличик уже и не знал, за кем следить, чего спасать. И взяла его обида за хозяев. Эх, думает, до чего душевные были люди и в кого превратились! Знал бы такое, ни за что сюда не поехал. И теперь мне тут делать нечего. Вернусь в Харино, в свою избу, буду новым хозяйевам служить, а если у них есть доможил, попрошусь к нему в помощники.

– А что, кто-то есть? – спросил Хлопотун.

– Нет, с новосёлами никто не приехал, а харинские решили в своё время не занимать избу год. На случай, если Куличик вернётся... Он и вернулся.

– Радуется, наверное, – подал голос Панамка.

– Радуется!.. Да он совсем голову от счастья потерял. Вот что ваш город делает! – со злостью закончил Пила, адресуя последние слова опять же Лёньке.

– Ну чего ты к нему пристал? – заступился за мальчика

Хлопотун. – Все, что ли, в городе такие, как эти Попругины с соседями?

– Все! – с вызовом бросил Пила.

Хлопотун махнул лапой:

– Ну, пошёл пилить...

Должно быть, в это время Кадилу показалось, что становится скучно.

– Удивительно, как это некоторые в курятнике живут и всё про харинские дела знают, – ни к кому не обращаясь, заметил он.

Пила недовольно поморщился:

– Что же мне, безвылазно там сидеть? Я вчера в Харино ходил...

Кадило как будто с неохотой повернулся к нему:

– А может, тебе это приснилось? Ты же с тамошними домовыми дружбу не водишь, харинскими шишигами всех называешь.

– А я ко всем и не ходил. У меня там знакомая домованя...

– У тебя? – неподдельно изумился Кадило. – Да ты, однако, острая Пила. Стой, уж не жениться ли ты собрался?

Пила понял, что снова попался на удочку к Кадилу, но было поздно.

– Собрался я или не собрался, тебе знать незачем! – отрезал он.

– Как так незачем? – резвился Кадило. – Очень даже за чем. Могу дельный совет дать. Ты ей не говори, что живёшь

в курятнике, как петух, а её вместо наседки взять хочешь.

– Тьфу ты! – в сердцах плюнул Пила. – Да не нужен ей мой курятник, у неё дом есть!..

– А-а-а, – протянул Кадило, – так ты, значит, в её дом переселишься, среди харинских шишиг жить будешь... Пора тебе, Пила, возвращать прежнее имя, будешь у нас опять Запечным. Только как с нынешним быть? Очень оно тебе подходит. Давай мы тебя будем величать Запечной Пилой. Не обидишься?

Пила немного поразмыслил.

– Слушай, Кадило, отчего ты ко мне без конца цепляешься? Чем я тебе не угодил? – спросил он вдруг мирным, почти дружеским тоном.

– Не угодил? Да как ты мог такое подумать? – загорячился Кадило. – Я же люблю тебя, Пила! Как я буду жить, когда ты нас покинешь? Нет, без тебя я здесь не останусь. Возьми меня с собой, Пила, я тебе пригожусь!

– На что ты мне годишься? – с презрением ответил тот. – Кадилом дымить?

Кадило скорбно поглядел на него:

– Э-эх, предательская ты Пила!.. Да без меня ты в Харине через три дня прокиснешь и сверху паутиной обростёшь!

– Оставь его в покое, – в другой раз осадил Кадилу Толмач, – этак до утра в своей любви не объяснишься. Вон Лёнька, чай, думает, что мы ради ваших петушиных боёв только и собираемся. Как тебе, Лёня, это безобразие нравится?

– Очень нравится, – признался мальчик, и все засмеялись.

– А ещё что-нибудь нравится?

– Ещё дом нравится. А чей это дом?

Он уже успел между делом осмотреть горенку, где они сидели. В ней всё было просто, слишком просто даже для деревенского уклада. Лавки, стол и лежанка – немудрёная мебель этого жилища – были вытесаны грубо, как будто в спешке. Оконца по малости своей обходились без крестовины. В углу стояла печь, узенькая, словно сложенная для забавы. Украшали комнату пучки сухой травы и связки кореньев, щедро развешанные на стенах и низком потолке. В доме не пахло человеческим жильём, но не замечалось и признаков запустения – сырости, паутины и пыли.

– В этом доме мой хозяин четырнадцать лет прожил, а строил себе времянку, – сказал Лёньке Толмач. – Потом часто смеялся, что нет на свете ничего постоянной, чем временное...

– А где этот хозяин?

– Умер, – как будто через силу проговорил Толмач. – Уже пять лет тому.

– И никто здесь не живёт?

– Нет, он один был, семьёй так и не обзавёлся, – с грустью и сожалением ответил домовый, – и не передал никому своего дела.

– Расскажи ему про Егора, Толмач, – внезапно нарушил молчание Выжитень, и его голос прозвучал как отдаленный

раскат грома.

– Расскажи, расскажи, – поддержал Кадило без обычного озорства, но Толмач отчего-то медлил.

...Жизнь Егора Сеничева пронеслась перед ним как порыв весеннего ветра, дохнувшего свежестью и умчавшегося куда-то вдаль. Толмач знал эту беспокойную жизнь от начала до конца и хранил в памяти как бесценный клад. Домовой обвёл взором последнее пристанище Егора на земле и остановил взгляд на мальчике.

– Ну, слушай, Лёня, – согласился он.

...Долгое время на месте этого дома стоял другой – хороший, крестовой. Выстроил его ещё прадед Егора. В нём Егорка и родился. Отец его был печник неплохой в Песках, а мать на всю округу известность имела, потому что лечила людей ото всякой болезни, никому не отказывала.

А Егор никак не мог свою дорожку найти. С детства, как водится, отец его к печному ремеслу приучал, но Егору оно не полюбилось. Нанялся он работником на мельницу и там долго не пробыл. После того определил отец Егора в плотницкую артель, но тот через месяц домой явился. Тут уже не выдержал отец. Ты чего же, говорит, позоришь нас, мечаешься туда-сюда, руки, что ль, не тем концом прилажены? Да не руки, отвечает Егор, а душа не лежит. Отпустил бы ты меня, батя, в город, может, я там себя найду. Тот отпустил, и устроился Егорка помощником кочегара на паровоз. Сначала ему жизнь на колёсах понравилась, но вскоре знакомая

тоска опять к нему вернулась. Был он потом и почтальоном, и водовозом, и дворником... Один человек посоветовал пойти на завод, там де работа для молодых. Пошёл Егор учиться на токаря и чувствует, что снова не туда попал. Неужто, думает, прав был батя, не гожусь я ни на что? Но ведь чует сердце, что где-то есть такое дело, для которого всей жизни не жалко.

Вскорости пришло ему известие из Песков, что мать занемогла и зовёт Егора. Поспешил он домой, к матушке, а она обняла сына и спрашивает:

– Ну что, Егорушка, нашёл ты дело по себе?

– Не нашёл, мама, – повiniлся Егор, – напрасно вас одних оставил.

– Не горюй, сынок, – утешает мать, – у меня для тебя приспела работа. Я свой путь на земле кончила, дальше ты будешь вместо меня людям помогать.

– Что ты, мама! – вскрикнул Егор. – Ведь я не умею!

А мать ему своё:

– Помогают, милый, не столько уменьем, сколько любовью, а в твоём сердце для всех любви хватит. Остальное придёт к тебе, Егорушка. А когда уйду от вас, не тужи обо мне шибко, мы с тобой скоро свидимся...

В тот же день остался Егор без матери. Горько сделалось ему жить на свете. «Хотя бы ещё разок увидеть тебя, матушка, – мечтает он, – всё бы легче стало...»

А через несколько дней, когда отец Егора в отлучке был,

постучались в их дом пришлые люди – старик и девушка.

– Здесь ли Таисия Сеничева проживает?

– Нет, – отвечает Егор, – на прошлой неделе схоронили матушку.

Снял старик шапку и заплакал:

– Вот ведь беда какая!.. Даром, выходит, мы пришли. А кроме её никто нам не поможет!..

– Что у вас за беда? – спрашивает Егор.

Старик подвёл девушку поближе, платок с неё снял, а под платком на шее – какая-то припухлость.

– Вот, – жалуется старик, – завелась в горле хвороба, ни есть, ни пить не даёт, а теперь уже и дышать мешает. В больнице лечили, да не вылечили. И бабки тоже – у кого не получается, а кто и не берётся. Прослышали мы случайно про вашу матушку, вот Оленька и загорелась: пойдём да пойдём к ней, она меня исцелит. А оно вон, значит, как... Извиняйте уж за беспокойство, пойдём мы с дочкой.

– Куда же вы пойдёте? – не отпустил их Егор. – С дороги да снова в путь? Зайдите в избу, передохните у нас...

Усадил Егор неожиданных гостей за стол, стал потчевать. Старик ест, а дочка и не притрагивается к угощению. Разглядел её Егор получше и подивился, как она на такой путь отважилась, ведь в ней и жизни-то почти не осталось: не человек, а чахлая былинка. Тут Оленька кружку с молоком взяла, хотела выпить, да лишь поморщилась и обратно поставила. Зашлось у Егора сердце от жалости. Встал он, подошел к де-

вушке и положил руку ей на шею. Как это случилось, Егор и сам не понял, а девушка глаза закрыла, обмякла вся и уронила голову.

Старик перепугался:

– Что это? Помирает она?

– Да нет, – отвечает Егор, – уснула вроде.

Положили они больную на лавку. Старик рядышком присел:

– Сейчас начнёт метаться и кричать, что душат её...

Коротают они время невесело, а девушка спит себе тихонько, как младенец. Уже и свечерело.

– Ложись и ты, дедушка, – посоветовал Егор.

– Как же я голубку свою оставлю? – не соглашается старик. – Да ты гляди, она просыпается.

А дочка его открыла глаза и лежит – к чему-то прислушивается. Потом и говорит:

– Тятя, мне не больно совсем.

Старик чуть не упал.

– Дак может, ты молочка выпьешь, доченька?

– Выпью.

Выпила она молоко и улыбается. Тут старик заплакал вновь и Егору в ноги упал:

– Милый ты человек, да как же благодарить тебя за такое чудо?

А Егор сам ничего понять не может, стоит столбом, на Оленьку во все глаза смотрит, а та смеётся:

– Говорила я вам, тятенька, что надобно идти в Пески!

И у Егора спрашивает:

– Можно мне ещё поспать?

...Уснула она, и Егор со стариком в передней легли. Старик, было слышно, до полночи не спал, то молился, то ворочался, наконец затих. А Егору не спится: сердце колотится, и мысли путаются, как в горячке.

В какой-то миг заметил он в темноте бледное сияние, и на глазах у Егора выткнулся из него женский облик.

– Матушка!.. – узнал он.

– Вот, сынок, я и пришла к тебе, как обещалась, – говорит Егору покойная мать, – ты ведь хотел меня повидать?

– Неужто это ты? – не верит Егор. – А почему ты вся как лунный свет?

– А я теперь живу там, где светло, легко и прозрачно.

– Хорошо там жить?

– Хорошо... Только больно глядеть на грешную землю.

Но сегодня у меня радость: пришла пора, Егорушка, и тебе на свою тропу становиться.

Егор аж задохнулся от волнения:

– Так значит... Оленьке я помог?..

– Да, сынок, и так с тобой отныне всегда будет. Никто эту силу у тебя не отымет, если сам от слабых да хворых не отвернёшься. Что ж, возмёшь себе такую ношу?

– Возьму, мама, – отвечает Егор.

– Тогда слушай. Много тебе нужно узнать, сынок, чтоб по-

могать каждому, кто нуждается, и всё, что сама умею, я тебе передам. А ты никому ничего не говори и жди меня снова.

– Матушка, – позвал Егор, – отчего ты раньше мне этого не сказывала?

– Раньше время тебе не пришло. Ну, Егор, до скорого свидания.

И растаяла, будто в серебряную пыль рассыпалась. А Егор вздохнул легко и крепко уснул.

Поутру проснулась Оленька веселёхонька, и следа на шее от болезни её не осталось. Старик на неё не на радуется и всё Егора благодарит.

– Ты прямо чудотворец, парень. Давно этому научился?

– Не учился вовсе, – признался Егор, – и не помышлял об этом никогда. Само собой всё получилось.

– Ох ты!.. – заморгал старик. – Стало быть, Господь одарил тебя благодатью. Будешь заместо матушки нас, убогих, пользоваться.

Вернулся домой отец Егора и, узнавши новость, растрогался:

– Благо, что материна сила не в землю, а в тебя ушла. Это справедливо Творец рассудил, – и благословил Егора.

Старик с дочкой ещё два дня у Сеничевых погостили и обратно засобирались.

– Надо нам домой спешить, своих обрадовать, – объяснил старик, – а то ведь не знают, жива иль нет наша младшенькая.

Дочка его поклонилась Егору и говорит:

– Всю жизнь буду помнить тебя и рассказывать, как ты меня спас.

...А ночью опять пришла к Егору мать. Села у изголовья, озарив горницу неземным светом, и сказала:

– Скоро, Егорушка, к тебе ещё придут. Ты не тревожься, я научу, что делать. А ты помогай всем, кто попросит. Какой бы ни пришёл человек – прими его с открытой душой. А теперь гляди – принесла я тебе с лугов и болот целебные травы, в которых таится сила матушки-земли...

И стал Егор учиться премудрости исцелять. Между тем слухи о нём быстро разошлись окрест, и потянулся к Егору больной люд. Никому не отказывал молодой знахарь, лечил всех с охотой, с улыбкой. Кого за один раз на ноги ставил, кому с собой снадобье давал, а иных оставлял у себя в доме и сам выхаживал. За труд ничего не требовал, что дадут – за то и спасибо.

Люди, Егора знавшие, почитали его чуть не за святого. Был он в самом деле очень прост, славой своей не гордился, со старшими обходился почтительно, с младшими – приветливо. Многие песковские девчата заглядывались на Егора, да он никого не выделял. Сердце молодого знахаря было занято другим – билось оно навстречу страждущим людям с такой неудержимой силой, будто хотело всех обогреть своим огнём.

А один раз случилось неладное. Привели к Егору, точнее сказать, принесли, древнего деда Кокошкина. Было ему

столько лет, что уже дети его состарились, и принесли его внуки. Этот Кокошкин шустрый ещё был дед, даром что старше всех в Песках, а вот свалился в прорубь и занемог.

Увидал его Егор, и дрогнуло в нём что-то, будто кто шепнул со стороны: не жилец это уже. И в первый раз опустили у Егора руки. Кокошкин-внук и спрашивает:

– Что ж, обратно его нести?

– Снимайте с него тулуп и кладите на лавку, – говорит Егор.

Стал осматривать деда, а тот пытается:

– Ну чего, отбегал своё Прохор Кокошкин?

– Нет, дедушка, – отвечает Егор, – побегаешь ещё, дай только подлечу тебя немного.

– Ну, гляди, коли так... Прямо здесь меня воскрешать станешь, или мне домой ехать на своих конях?

– Здесь, дедушка. А коней этих отпуская, назад своим ходом пойдёшь. Давай-ка я тебя для начала разотру.

Достал нужную мазь и так взялся за деда, что бедный Кокошкин закричал:

– Ох, сломаешь ты меня, Егорка! Я ж не молодой, чтоб так меня мяли. Мне уже давно пора помереть...

И опять мелькнула у Егора странная мысль: «А что, если и впрямь поздно уже?» Но сейчас Егор этой мысли устыдился, а деду сказал:

– Неужто тебе жизнь надоела, Прохор Аверьяныч?

– Ох, милоч, порой кажется, что и надоела, а нынче вот

до того не хочется с белым светом расставаться...

– И не надо расставаться. Выпей вот и поспи, проснёшься – тебе легче станет.

Укрыл Егор деда тулупом и чувствует, что самому прилечь охота. А когда лёг, начало его морозить. Потом в жар бросило, и тело сделалось тяжёлым, как чугун. «Что со мной? – подумал Егор. – Надо бы и себе питьё приготовить...» Но ничего не успел: в голове зашумело, горница, наливаясь мраком, поплыла перед глазами, и провалился Егор в чёрную бездну.

Сколько пробыл он там, не живой и не мёртвый, Егор не знал, а очнувшись, увидел рядом мать.

– Ну, здравствуй, сынок, полегчало тебе?

– Сил нету... – прошептал он.

– Силы придут, – успокоила матушка и улыбнулась так кротко и светло, как живые люди не улыбаются.

Догадался Егор:

– Мама, это ты вернула меня из темноты?

– Я узнала, что с тобой худо, и поспешила сюда...

...И вспомнилось вдруг Егору, как он мальцом упал в колодец во дворе, вымок до нитки и потонул бы в ледяной воде сразу, если б не уцепился за подгнившее бревно. Егорка знал, что дома нет никого: отец в другой деревне, а мать ушла в лавку. Соседей кричи не кричи – не дозовёшься, да он и не мог кричать: тело свело и зубы у Егорки не разжимались. «Сейчас сорвусь», – подумал он и тут услышал:

– Сынок! Сыно-ок!

– М-ма-а! – замычал он что было сил.

– Держи, сынок!

Загремела над Егоркой цепь, и бадейка шлёпнулась в воду. Егор оторвался от бревна и упал на бадейку животом, руками её обхватил. Так его мать и подняла. Оттащила она Егора на солнышко, на горячий песок и всё твердила:

– Господи, спасибо тебе за сыночка!.. Господи, спасибо...

А после рассказала Егору:

– Я в лавке болтаю с бабами-то, вдруг сердце у меня как затрепещется да враз как оборвётся!.. Я и поняла, беда с тобой! Лечу домой, не знаю, где тебя искать, тут колодец на глаза попался...

Егорка мать слушал, но ответить ничего не мог – лежал на солнцепёке и дрожал, как народившийся щенок.

...Давно это было, а вот увиделось Егору так ясно, словно он и теперь ещё лежал на песке под жарким солнцем.

– Опять ты, мама, меня спасла, – промолвил Егор.

Мать погладила его невесомой рукой.

– Сынок, мы часто помогаем живым, только им невдомёк.

А то бы многое людям по-иному виделось... Да чего уж, о другом хочу сказать. Когда нынче принесли к тебе Кокошкина, дважды ты усомнился, выживет ли. Этим и накликал на себя беду. Не поверил в свою силу, дрогнул ты, Егор, перед болезнью. А ей того и надо: почуяла в тебе слабинку и тут же вошла чрез неё. Ведь это, Егорушка, твой враг, ты её побе-

дить хочешь, а она тебя. Но твой-то дар от Бога и посильнее всех недугов будет. Тебе ли с такою силой да сомневаться?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.